

## В РОМАНТИЧЕСКОМ ПРИЧЕТЕ

Славянофильство — одна из разновидностей русского романтизма XIX века. В своем развитии славянофилы соприкасались со всеми его типами. Но они не «застрелили» ни на одном из них. Хронологически славянофилы — участники этого движения на всем его протяжении. Будущие славянофилы (Хомяков, Иван Киреевский) получили первые импульсы творчества от раннего русского романтизма, ярчайшим представителем которого был Жуковский, а зрелый, собственно славянофильский романтизм — одна из стадий затухающего романтического движения в России вообще. В конечном счете сформировался особый славянофильский консервативный романтизм, который, используя одно из выражений П. Я. Чаадаева о славянофилах, можно назвать романтизмом «ретроспективной утопии».

Ни в одной из работ не поставлен прямо вопрос о типе романтизма славянофилов. Есть лишь беглые упоминания об их романтизме то в связи с увлечением Шеллингом, то в связи с характеристикой их несбыточных идеологических притязаний, или их исторических взглядов, или контактов с другими романтиками.

Рассматривая славянофилов как некоторую самостоятельную школу романтизма, мы хотели бы закрепить за ней название школы «ретроспективной утопии»,

оно кажется нам научно точным, выражающим метод мышления и устремленность ее участников. Термин «славянофилы», как мы уже говорили, хорошо выражает предмет забот этих мыслителей, выбор объекта любви в действительности, а «ретроспективная утопия» передает метод построений, их «мир иной и образов иных существование», их романтизм. Но оба названия не противоречат друг другу, они взаимно дополняют характеристику сущности явления. Можно на равных правах употреблять оба названия, в зависимости от того, какую сторону этого в общем странного явления мы собираемся подчеркнуть.

По контрасту с романтизмом «ретроспективной утопии» в русской литературе 40-х годов XIX века сложился другой романтизм, в кругу Петрашевского, западников-«фурьеистов», которых можно назвать школой романтизма «социалистической утопии». Таким образом, традиционное разделение романтизма на два главных направления — «консервативный» и «революционный», в чем-то правильное, хотя и далекое от совершенства, упрочивается дополнением этих двух разновидностей. Были Жуковский и Рылеев, по существу, два вида романтизма, и вот в конце первой половины века — славянофилы, «ретроспективно утопические» романтики, и петрашевцы — социалистически-утопические романтики. При этом мы отчетливо сознаем всю условность и относительность самих разграничений романтиков на прогрессивных и консервативных. Ведь прогрессивным для своего времени был и романтизм Жуковского, когда-то первый и единственный в России, вызывавший косые взгляды охранителей, «шишковистов» за проповедь чрезмерного своееволия меланхолической личности, недовольной тем, что есть. Ведь эта рефлектированная неудовлетворенность личности существующей действительностью была в глазах охранителей и консервативных классицистов начала XIX века буйным проявле-

нием «западного» личностного начала. Потом эта сторона в романтизме Жуковского заслонилась более яркими проявлениями борьбы за права личности в «гражданском» романтизме декабристов, философским романтизмом «любомудров» и особенно «гордой враждой» Лермонтова с земным и божеским миропорядком<sup>1</sup>.

Следует предварительно оговориться и относительно такого обстоятельства. В школе славянофильского романтизма, какой бы единой по программе она ни представлялась, были внутренние оттенки между входившими в нее поэтами. В их контактах с поэтами других школ не было строгой последовательности. Для братьев Киреевых с детских лет по родственным связям духовным наставником был Жуковский. Но Хомяков прошел несколько иную школу, более классицистическую и «архаическую». Его наставниками были Мерзляков, А. Жандр (приятель Грибоедова), А. Глаголев (тот самый, который осуждал «Руслана и Людмилу», приравнивая выход в свет поэмы Пушкина к бесцеремонному появлению мужика в дворянском благородном собрании, со словами «Здорово, ребята!»). На многих стихах Хомякова так и осталась навсегда печать классицистического одописания. Для Константина Аксакова решающее значение имело домашнее патриотическое воспитание, основанное на «Истории государства Российского» Карамзина и всецело на каком-то культе всего славянского и русского. Иван Аксаков лучше остальных славянофилов знал реальную жизнь и видел, как все труд-

---

<sup>1</sup> Вопрос о типологии русского романтизма не раз обсуждался в советском литературоведении и не может еще считаться окончательно решенным. См. статьи последнего времени на эту тему: А. М. Гуревич. О типологических особенностях русского романтизма.— В сб. «К истории русского романтизма». М., «Наука», 1973; В. И. Кулешов. Типология русского романтизма.— В сб. «Романтизм в славянских литературах». М., Изд-во МГУ, 1973.

нее было держаться утопии среди побед школы Гоголя и Белинского в русской литературе.

Но славянофильская романтическая школа как таковая существовала и закономерно демонстрировала определенную логику своего поэтического самоопределения.

Романтизм Жуковского был наиболее близок славянофилам по своим мотивам, жизненной концепции. Особенno были важны в этом романтизме мотивы народности и патриотизма. Жуковский в 10-х годах был занят осуществлением своих романтических замыслов, в частности, поэмы о Владимире Святом. Интерес Жуковского к иностранной литературе не вызывал у них неприязни. Все было освящено именем любимого русского поэта, поисками самобытности. Они не восхваляли элегии и баллады Жуковского на рыцарские сюжеты. Но «волшебные сказки» в назидательном духе любили.

У Ивана Киреевского есть прозаическая сказка «Опал» (1830), напоминающая «Красный карбункул» Жуковского. Образ томного «певца», не понятого средой, импонировал славянофилам. Таков у того же Ивана Киреевского «бедный певец» в рассказе «Царицынская ночь» (1827).

Мотивы романтического уединения, отчуждения от «бедствий земных», тихие беседы с богом и небом наполняют ранние стихи Хомякова: «Послание другу», «В альбом сестре», «Желание», «Поэт» и др. В поэзии Хомякова есть и державинские ноты, философские размышления в духе «любомудрия», и гражданская патетика, но все облекается в тона меланхолии, явно в духе Жуковского («Сон», 1828; «Признание», 1830). Все славянофилы, как и Жуковский, душевное горе осмысливали как произвол промысла и со смирением выносили испытания. Об исключительной способности Хомякова к религиозному экстазу рассказывает в восто-

милиариях Ю. Ф. Самарин<sup>1</sup>. Аналогичный рассказ об Иване Киреевском есть в «Былом и думах» Герцена. Пережитое чувство выливалось иногда в прекрасных стихах. Таково в духе Жуковского стихотворение Хомякова «К детям» (1839), написанное в связи со смертью его двух малолетних сыновей.

В плену образов и мотивов Жуковского долгое время находился Константин Аксаков («Элегия», 1832; «Стремление души», 1834), пока не стал целиком поэтом-гражданином в славянофильском смысле.

Перепевы ритмов Жуковского слышатся и в стихах Ивана Аксакова:

Дню вечернему забвенье,  
Дню грядущему привет.  
(«На 1858»)

Невольно вспоминаются стихи Жуковского:

Спящий в гробе мирно спи;  
Жизнью пользуйся живущий.

Задумчивые касания касались иногда восточно-экзотической области, в которой Жуковский-переводчик был большим мастером. Внимательного читателя Хомякова не может не остановить стих:

Где сон ее лилеют перлы  
И духи вод ей леснь поют;  
Но мрачный Див стоит у двери,  
Храня таинственный приют.  
(«Изола Белла», 1826)

Подобные обороты есть у Жуковского в его переводе «Пери и ангел» из Т. Мура (1821).

Как славянофилы ни обгоняли Жуковского в целе-

<sup>1</sup> См.: «Татевский сборник». Под ред. С. А. Рачинского. СПб., 1899, с. 128—133.

устремленном философствовании, они все же использовали в качестве исходных начал углубленные формулы из его «Невыразимого» (1818) и других лирических излияний. Хомяков в стихотворении «Два часа» (1831) задался той же идеей: поведать о трудностях выразить невыразимое.

Жуковский был всегда желанным гостем у славянофилов. Он был для них символом благородных традиций, их опорой. Он печатал в их сборниках, в «Русской беседе» свои вещи.

Перевод «Одиссеи» Жуковским (1849) использовался ими как козырь в борьбе с «натуральным» направлением в литературе. Гомеровская старина, цельная древнегреческая жизнь противопоставлялись «грязи» и «раздору» современной жизни. Так на другой основе продолжался спор К. Аксакова с умершим Белинским из-за «Мертвых душ», противопоставлялась «идиллия» Гомера сатире гоголевского направления. И Жуковский не противился такому истолкованию его перевода.

А вот другие связи славянофилов с романтиками.

«Никогда не забуду одного вечера,— писал славянофил Кошелев,— проведенного мною, 18-летним юношем, у внучатого моего брата Мих. Мих. Нарышкина; это было в феврале или марте 1825 года. На этом вечере были: Рылеев, кн. Оболенский, Пущин и некоторые другие, впоследствии сосланные в Сибирь. Рылеев читал свои патриотические думы; а все свободно говорили о необходимости *d'en finir avec ce gouvernement* (покончить с этим правительством.— В. К.). Этот вечер произвел на меня самое сильное впечатление; и я, на другой же день утром, сообщил все слышанное Ив. Кириевскому, и с ним вместе мы отправились к Дм. Беневитинову, у которого жил тогда Рожалин, только что окончивший университетский курс с степенью кандидата. Много мы в этот день толковали о политике и о том, что необходимо произвести в России перемену в

образе правления»<sup>1</sup>. Предложениям и прениям, продолжает Кошелев, тогда не было конца. Ему, юноше, казалось, что «для России уже наступал великий 1789 год»<sup>2</sup>.

Может быть, отголосок вольномыслия слышится в упоминавшейся «Царицынской ночи» Ивана Киреевского. Здесь изображается одна из загородных прогулок, которые в то время, чтобы скрасить впечатление от казни декабристов, предпринимали любомудры. Об этих прогулках рассказывает Кошелев в воспоминаниях. И вот молодые люди посетили подмосковное Царицыно, с недостроенным дворцом Баженова, с прудами. На пикнике поэт по просьбе друзей читает импровизацию. Стихи в общем слабые, в духе унылого романтизма Жуковского, но тут любопытен перечень семи сакральных звезд с истолкованием значения каждой из них: веры, песнопения, любви, славы, свободы, дружбы и надежды.

Этот ряд отчасти напоминает пушкинское послание к Чаадаеву: «Любви, надежды, тихой славы». Существуют разные значения символа «звезды» в поэзии декабристов и их окружения. У Кюхельбекера: «Мы вместе помчимся туда, туда, где восходит свободы звезда». У Рылеева: «Звезда надежды воссияла». Тот же Рылеев говорил о Байроне как «звезде путеводной». Для А. Бестужева звезда — «вожатый». И свой альманах декабристы назвали «Полярная звезда» и еще предполагали выпустить «Звездочку».

У Киреевского есть все эти значения, кроме звезды-вожатого, путеводителя. Но Киреевский многозначительно славил «звезду свободы»:

---

<sup>1</sup> «Записки Александра Ивановича Кошелева», с. 13.

<sup>2</sup> Там же, с. 14.

Кому, пред неправою силой  
Главы благородной склонить не дала  
*Свободы звезда золотая...*

Тут определенно есть перекличка с посланием Пушкина в Сибирь: «Храните гордое терпенье». Не склоняйте головы перед неправой силой, то есть перед тиранами, говорит Киреевский. Эта звезда — утешительница в бедах — многое значит.

Сочувственное отношение к декабристам не характеризует славянофилов в целом. Хотя славянофилы и не были в числе тех, кто проклинал их, однако они считали восстание ошибкой, не органически русским явлением.

Хомяков служил в лейб-гвардии конном полку, квартировавшем в Петербурге. Его первые публикации появились в «Полярной звезде» Рылеева и А. Бестужева. Хомяков и декабристы чуждались светских забав и горячо спорили на политические темы. Но Хомяков не разделял их гражданских убеждений.

Дочь Хомякова, Мария Алексеевна, вспоминала, видимо, по семейным преданиям: только случайность, отъезд в Париж в 1824 году, спасла ее отца от следствия. Его знакомство с петербургскими декабристами не сошло бы гладко. «В собраниях у Рылеева и А. И. Одоевского он бывал очень часто и горячо опровергал политические мнения его и А. И. Одоевского, настаивал, что всякий военный бунт, революция, сами по себе безнравственны»<sup>1</sup>.

Итак, Хомяков увез с собой в Париж чувство отвращения к восстаниям. Когда восстание декабристов потерпело поражение и началось следствие, Хомяков в том же отрицательном духе обсуждал в переписке с отцом эти события. Письмо отца от 3/15 мая 1826 года

<sup>1</sup> ГИМ. Напеч. в предисловии Б. Ф. Егорова к изд.: А. С. Хомяков. Стихотворения и драмы. Л., «Советский писатель», 1969, с. 11.

было послано в Париж накануне казни декабристов. Ответное письмо Хомякова к отцу до нас не дошло. Отец Хомякова писал: «Для русских крестьян свобода заключалась бы в свободе напиваться. Надо знать их мысли насчет свободы! Они говорят: мы не будем платить ничего, мы ни от кого не будем зависеть, у нас водка будет дешевле»<sup>1</sup>, то есть: дай такому народу свободу, и наступит анархия и варварство. Начнется избиение властей, образованных классов. Грамотные мужики тем более впадут в разврат и безверие. Отец Хомякова считал, что восставшие дворяне все почерпнули из книг, они «никогда не изучали народного духа, ни в одном сочинении хорошо не описанного...».

В таком же духе по горячим следам описывал мятеж и брат поэта, Федор Степанович Хомяков, в письме к нему из Петербурга в Париж от 24 декабря 1825 года<sup>2</sup>. Все заставляет предполагать, что и сам Хомяков, будущий славянофил, точно так же думал о событиях в Петербурге. Единомыслие его с родными в этом вопросе было полное.

Аналогичные суждения о декабристах высказывали Самарин, Константин Аксаков. Вера Аксакова в дневнике записала, что восстание имело пагубное влияние на все царствование Николая I: он боялся всего и потому свирепствовал.

Но в области поэзии славянофилы не столь явно были антагонистами декабристов. Здесь процессы поляризаций совершились медленнее. Многие поэтические образы и формулы гражданского романтизма декабристов продолжали жить в поэзии славянофилов.

Общими были призывы уважать все свое, народное, не тронутое аристократизмом высшего света, общим было презрение к этой светской верхушке, к «переро-

<sup>1</sup> А. С. Хомяков. Соч., т. VIII. М., 1904, с. 23 (приложения).

<sup>2</sup> См.: «Русский архив», 1894, кн. 5, с. 221—223.

дившимся славянам» («Гражданин» Рылсева). В. Ф. Раевский в послании «К друзьям» (1822) также не хотел позорить «гражданина сан» и аскетически отказывался петь любовь. Этот аскетизм свойствен был и славянофилам. Гражданская устремленность была для них характерна в сильнейшей степени.

Все свое негодование декабристы обращали на потерявшее чувство гражданственности «племя чуждо», которое «терзает нас кровавой пыткой»; то есть на пародившееся капральство, аракчеевщину. Славянофилы потом обрушатся на всю петербургскую бюрократию, чиновничество, которое терзает народ (Константин Аксаков, «Тени» и др.).

Вернемся к теме «народности». Декабристы знали народ не хуже славянофилов, но они искали в народе черты политической активности. Именно декабристы первыми поставили многие вопросы «народности», которыми так впоследствии гордились славянофилы. Были выработаны уже в 20—30-х годах многие сокровенные формулы для поэтического выражения народолюбия: фольклор как источник поэзии, поэт — голос народа и проч.

Бестужев-Марлинский в статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 года» выражал сожаление: «Было время, что мы невпопад вздыхали по-стерновски, потом любезничали по-французски, теперь залетели в тридевятую даль по-немецки. Когда же попадем мы в свою колею? Когда будем писать прямо по-русски?»<sup>1</sup>

Кюхельбекер пояснял: «Всего лучше иметь поэзию народную». «Да создастся для славы России поэзия истинно русская,— писал Кюхельбекер,— да будет святая

<sup>1</sup> Сб. «Декабристы. Поэзия, драматургия, проза, публицистика, литературная критика». Составил Вл. Орлов. М.—Л., Гослитиздат, 1951, с. 546.

Русь не только в гражданском, но и в нравственном мире первою державою во вселенной! Вера праотцов, нравы отечественные, летописи, песни и сказания народные — лучшие, чистейшие, вернейшие источники для нашей словесности»<sup>1</sup>.

Декабристы немало труда потратили, чтобы воскрепить героев русской истории. Их интересовали герои древнерусской вечевой вольницы патриоты-свободолюбцы: Вадим, Ермак. Эти герои дум Рылеева и песен А. Одоевского были излюбленными и в творчестве славянофилов: «Вадим», «Ермак» у Хомякова, новгородские темы у Константина Аксакова и того же Хомякова.

Декабристы не стеснялись называть Русь «святой» и все русское «священным». В эти термины они не вкладывали религиозного содержания, а выражали ими лишь высокую патетику своего гражданского отношения к родине. О «святой ревности гражданина» говорил в стихах Рылеев. Заслугу Державина поэт-декабрист видел в том, что тот «пел и славил Русь святую», был «органом истины священной». Дмитрий Донской в думе Рылеева отправляется на Куликово поле для того, чтобы отстоять против татар «святую праотцев свободу», «священные права граждан». «Святому братству» клялся быть верным Пушкин при прощании с Лицеем в стихотворении, обращенном к Кюхельбекеру.

И после поражения А. Одоевский в послании Пушкину из Сибири выражал уверенность, что в новом восстании русский «православный народ» «сберется под святое знамя». В ритме стихотворения ссыльного Одоевского «На переход наш из Читы в Петровский завод» по-особенному звучат слова «За святую Русь!», словно кадансы тяжкого пути. Декабрист Ф. Ф. Вадковский писал из темницы: «Помнишь ли ты нас, Русь святая, наша мать». Неизвестный автор в 1831 году в стихо-

<sup>1</sup> Сб. «Декабристы...», с. 552, 553.

творении, посвященном И. И. Пущину, выразил свою мысль аналогичным образом: «Мать ты наша матушка православная, ты святая Русь».

Не исключено, что такой щедрый наплыв «священной» терминологии в поэзию 20—30-х годов был отголоском соответствующих формул, рожденных еще в ходе «священной» Отечественной войны против Наполеона. Но позже эти формулы были переосмыслены применительно к гражданско-патриотическим темам и сильно обогащены. В 1816 году декабрист Г. С. Батеньков, участник Отечественной войны, выразил это отчетливо:

Я русский: гордо бьется грудь  
При имени России.

У декабристов библеизмы, церковные славянизмы имели романтически-народную окраску. Герой Куликовской битвы у Рылеева преисполнен особой благодати для свершения своего подвига, потому что «От Сергия услышал глас». Известно, что Троице-Сергиева лавра сыграла выдающуюся роль в патриотической мобилизации русских на борьбу против татарского ига. Ион Пересвет погиб в схватке с татарским всадником Челубеем. Михаил Тверской, который за мучения, принятые в Орде, был причислен русской церковью к святым, восплет Рылеевым как патриот. Точно так же с религиозным воодушевлением действует у него на благо России и Иван Сусанин. Исповедующийся Наливайко говорит своему духовнику: «И радостно, святой отец, свой жребий я благословляю». Свои высокие требования декабристы формулировали в «Гражданском катехизисе».

Поклонение декабристов старой Руси, вечевому Новгороду, Пскову, самобытности разделялось будущими славянофилами и отчасти прокладывало путь их собственной идеализации Руси. И все же гражданственность ими понималась совсем не так.

Хомяков вслед за Рылеевым, В. Ф. Раевским, Пушкиным воспел Вадима. Его поэма развернута в эпическое повествование с описанием битвы и подвигов героя, но навязчивое морализирование извратило тираноборческую тему. Хомяков наделяет героя рефлексией, его мучает сознание того, что ради свободы Новгорода ему пришлось пролить кровь. Здесь слышится отголосок тогдашних споров Хомякова с Рылеевым о праве на восстание, о той цене, которой может быть куплена свобода. Настоящего понимания этой благородной темы Хомякову не хватало. Иное дело В. Ф. Раевский: он призывал возродить вече, которое умело сокрушать «царей кичливых рамена».

В стихотворении «Новгород» (20-е годы) Хомяков лишь констатирует исторический факт: великий город запустел: «И на бросавшей молныи длани гремит бесславие цепей». Поэтическая находка, однако, не пропала, она была переиначена А. Одоевским в ответе на послание Пушкина: «К мечам рванулись наши руки, но лишь оковы обрели». Другой стих А. Одоевского «мечи скуем мы из цепей» был переделан Константином Аксаковым: «Раб в бунте опасней зверей. На нож он меняет оковы» («Свободное слово»). В стихотворении «Новгород» (1851) Аксаковым была вовсе снята проблема вече и свободы: душеприказчиком вольного города оказалась самодержавная Москва. Новгород «уступил» ей все свои права, и ее «собор» заменил теперь «древнее вече». Так, якобы без крови, совершилось это «завоевание». Славянофилы как-то неохотно обсуждали вопрос о древней русской демократии. Расплывчатая «былая слава» их вполне устраивала, в существо ее они не углубились.

Более сближает будущих славянофилов с декабристами тема любви к славянству, жажда его возрождения. У декабристов было «Общество соединенных

славян»<sup>1</sup>. Встречи «любомудров» с Мицкевичем в Москве в 1827—1828 годах подогревали эти чувства. Для славянофилов славянский мир — это мир древней общины и особой святости отношений. И все же для славянофилов единение славян возможно только в вере, под благословением церковных пастырей. Совсем другое у декабристов. Одоевский из Сибири приветствовал Польское восстание 1830 года, поляки почтили тризной декабристов. Поэта привлекает дух международной солидарности свободолюбивых народов.

В 1859 году в славянофильской «Русской беседе» было опубликовано стихотворение давно уже покойного А. Одоевского «Славянские девы». Стихотворение было очень популярно среди декабристов и было положено на музыку. Казалось бы, протягивались прямые нити от декабриста Одоевского к славянофилам. Вся поэтическая тональность стихотворения отчасти и действительно родственна им. Поэт задает вопрос: почему голоса славянских народов никак не сольются в единый хор,

<sup>1</sup> В декабристском «Обществе соединенных славян» (братья П. И. и А. И. Борисовы, Ю. К. Люблинский, И. И. Горбачевский) практически шла речь о возрождении старорусских демократических начал. Предусматривалась особая структура будущей законодательной власти — Народное вече, Верховный собор, утверждающий все законы исполнительной власти. Говорилось и о братстве славян, о необходимости предоставления свободы Польше. «Общество соединенных славян» было сторонником радикальных средств. Их демократические институты должны были заменить свергнутую власть самодержавия. Славянофилы извратили эту простую идею: их Народное вече, Земский собор должны были стать опорой власти царя, носить чисто совещательный характер. Но и среди членов «Общества» были разные настроения. Горбачевский так передает цель «Общества»: «Хотя военные революции быстрее достигают цели, но следствия оных опасны: они бывают не колыбелью, а гробом свободы, именем которой совершаются». Хомяков также в прямых спорах с Рылеевым накануне восстания 1825 года решительно отвергал военные заговоры. (См. сб. «Избранные социально-политические и философские произведения декабристов», т. III. М., Госполитиздат, 1951, с. 23 и др.)

почему по-разному поют славянские девы? Песни лягушачих дев «нежны и быстры», сербские песни задушевно «просты» и в «диком напеве блещут красой», у чешек они звучны и дышат «любовью и славой». И только у русской, «старшей дочери» в семействе славян, песня «заунывная», а очи «заплаканы», потому что она «грустно живет».

Поэтическая мысль этого стихотворения была лирична. Образ славянского моря, или потока-исполина, в котором сливаются все ручьи и реки, полюбился многим поэтам и стал традиционным. Есть он и у Пушкина («Славянские ль ручьи солются в русском море?»). Одоевский — за единство славян, но без политического главенства царской России. У него «старшая дочь» больше унижена, чем остальные. По существу это стихотворение противостояло всей программе славянофилов и только отдаленно казалосьозвучным направлению «Русской беседы».

Захватила в 20-х годах Хомякова тема греческого восстания, которую разрабатывали В. Раевский, Гнедич, Кюхельбекер, Пушкин. Выше уже рассказывалось, что юноша Хомяков даже хотел бежать в Грецию, чтобы помочь восставшим. Казалось, что православная Русь обязана была помочь единоверной Греции в борьбе с турками. Свои настроения Хомяков выразил в послании братьям Веневитиновым (1821). Но Хомяков хотел, чтобы призыв к борьбе был ему дан свыше, самим царем: «О если б глас царя призвал нас в грозный бой!» Для декабристов же эта тема греческого восстания была дорога как революционная (произошли уже «беспорядки» в Семеновском полку). Хомяков предпочитал оставаться верноподданным. Когда после греков восставали сербы, болгары, он также призывал помочь им. Но турки у него — только турки, все те же единственныегнэтатели.

Критическое отношение к Западу было и у декабристов в тех случаях, когда они усматривали и там,

на Западе, подавление свободы (см. «Пицца» Кюхельбекера) или вражду Альбиона к мятежному своему гению Байрону. В послании к Вяземскому Кюхельбекер называет «немыми» также и народы Запада, которых гнетут вековым жезлом «тираны». Запад не всегда в глазах декабристов был образцом процветания.

Свойственно было некоторым декабристам и тоскливое в духе последующего славянофильства отношение к своему родному там, за границей. В «Сне русского на чужбине» Ф. Н. Глинки, участника Отечественной войны, сначала декабриста, а затем близкого к славянофилам поэта, вкраплены звучные стихи: «Вот мчится тройка удалая», ставшие народной песней (напеч. в 1831 г., написана раньше, видимо в походе). Славянофильское неприятие чужого, западного, вырастает потом до огромных размеров. Константин Аксаков пошлет профессору Московского университета историку А. Н. Попову, отбывавшему в 1842 году за границу, целое наставление, чтобы он не обманывался «ложным видом» чужой жизни, чтоб не забывал он Кремль и «образы родные». Много на эту «русскую» тему было написано близким к славянофилам Н. М. Языковым.

Молодой Хомяков воспевал Венецию («Изола Белла», 1826), вспоминал после путешествия «страну чудес» Италию, скалы Швейцарии, «убежища свободы», роскошь Франции («Зима», 1830). Но затем все переменилось. Хомяков стал осуждать Альбиона. Стихотворение «Остров» (1836) Хомякова близко «Пророчеству» Кюхельбекера (1822, опубл. в 1902). Хомяков мог знать это стихотворение в списках, хотя сам Кюхельбекер в это время был в Тифлисе, а Хомяков весной 1824 г. уехал в Париж.

В обоих стихотворениях совпадают осуждения черствого Альбиона, поклоняющегося «злату». Есть у Кюхельбекера и мысль о грядущей каре Альбиону со стороны «святой силы», когда уже не помогут Альбиону «все крамолы». У Хомякова также сказано: «куешь кра-

молы». Вряд ли такое совпадение случайно. Но есть и существенная разница, отделяющая поэта-декабриста от поэта-славянофила. У Кюхельбекера Россия, носительница «святой силы», не противопоставляется Англии. Для Хомякова это принципиальный вопрос, ради этой идеи и написано произведение. Для Кюхельбекера «святым» было его революционное дело на благо России, но не сама царская Россия. Выражение «святая сила» в данном случае означает почти то же самое, что «божий суд» у Лермонтова в стихотворении «Смерть поэта». Под «божьим судом» явно имеется в виду суд истории, суд народа. А, по мнению Хомякова, Альбион будет наказан некой особой праведностью России, его покарает суд истории.

Чрезвычайно интересные напрашиваются сопоставления поэзии славянофилов с поэзией Пушкина. Кажется, они еще никем не обобщались<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Тут многое еще ожидает нас мелочей, требующих объяснения, догадки. Например, Т. Г. Цявловская установила, что таинственный профиль, начертанный Пушкиным на одной из страниц черновика «Полтавы», — портрет Петра Киреевского. Но какая тут связь, трудно еще установить. Пренебрегать же этими «мелочами», отметить их как познания, нарушающие, так сказать, привычный идеологический облик Пушкина и славянофилов, не следует. Пушкин хотел написать предисловие к собранию песен Петра Киреевского, историческим, свадебным, в свойственном им элегическом тоне (остался набросок статьи). В «Московском вестнике» была напечатана простонародная баллада Пушкина «Жених», импонировавшая будущим славянофилам. Петр Киреевский опубликовал в этом же журнале статью о книге Яковаки Ризо Нерулоса «Курс греческой новейшей литературы», изданной в Женеве в 1827 г. Пушкин был знаком с Ризо на юге, читал статью Петра Киреевского. Все эти факты отражают интерес обоих, Пушкина и Киреевского, к грекам, это отголосок сочувствия освободительному движению греков против турок. Петр Киреевский и Пушкин в 1829 году просились в армию, но им не разрешили. Обоих связывал интерес к Кальдерону, пьесу которого «Трудностеречь дом о двух дверях» перевел Петр Киреевский («Московский вестник», 1829, №№ 19—20). См.: Т. Г. Цявловская. Рисунки Пушкина. М., «Искусство», 1970, с. 93.

Конечно, в любой научной биографии Пушкина всегда говорится о творческих и личных встречах великого поэта с будущими славянофилами. Пушкин 17 октября 1826 года в доме «любомудра» Веневитинова в Кривоколенном переулке читал «Бориса Годунова», а затем Хомяков читал свою историческую драму «Ермак».

Известно, что под впечатлением от пушкинской трагедии Хомяков захотел вступить в своеобразное соревнование с автором «Бориса Годунова» и задумал написать трагедию «Дмитрий Самозванец». Пушкин был доволен первыми критическими статьями Ивана Киреевского и его отзывами о себе, и действительно, эти статьи были заметным явлением в русской критике. В 1833 году Пушкин передал Петру Киреевскому свое собрание русских песен.

Но все это — биографические факты, отдельные эпизоды. Нужно более глубокое изучение связей Пушкина с будущими славянофилами.

В период издания «Московского вестника» (1827—1830) бывшие «любомудры», а некоторые из них — будущие славянофилы, определенным образом спекулировали на своей близости с Пушкиным и его сотрудничестве в их журнале. Но поэт порвал с «Московским вестником», отвергнув его схоластический идеализм, проповедь «чистого искусства». Не ладились его отношения с теми же лицами, позднее сгруппировавшимися в «Московском наблюдателе» (1835—1836). Он писал в мае 1836 г. жене: «Наблюдатели» меня не жалуют<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> В своих записках А. И. Кошелев засвидетельствовал: «Пушкина я знал довольно коротко, встречал его часто в обществе, был и я у него. Но мы друг к другу не чувствовали особенной симпатии» (с. 31). Смерть поэта поразила, естественно, и славянофилов. См. письма Аксаковых об этом: «Литературное наследство», т. 58. 1952, с. 140. Но Н. Барсуков располагал сведениями о сравнительно равнодушном отношении некоторых из славянофилов к смерти Пушкина. (См.: Н. Барсуков. Жизнь и труды. М. П. Погодина, кн. IV. СПб., 1891, с. 437.)

По всему складу своего воспитания, мышления, в значительной степени по тематике и проблематике творчества Пушкин был «западником». Он славил Петра Великого и его творение — северную столицу. Он был певцом свободы в декабристском понимании, был «байронистом», приведшим в русскую литературу тему чайльд-гарольдовского анализа, нежелательную с точки зрения Ивана Киреевского; потом стал вдумчивым историком Пугачева и художественным изобразителем народного мятежа. Все это расходилось с представлениями славянофилов о том, какие должны быть истоки и пафос творчества подлинно народного писателя. Даже обработку Пушкиным сказок они считали святотатством (Хомяков восхищался только сказкой «О рыбаке и рыбке»): фольклор должен быть неприкосновенным. В «Песнях западных славян» они улавливали мотивы непокорства, вражды, гордого себялюбия, слишком развитого личностного начала.

И все же Пушкин был Пушкиным. Дочь Хомякова в одной из записок свидетельствует, что ее отец «прекрасно читал стихи Пушкина», она помнила, как он читал «Обвал», «Для берегов отчизны дальней...», «Сижу за решеткой в темнице сырой...», любил «Монастырь на Казбеке»: «Сам он очень дорожил мнением Пушкина и говорил, что Пушкин очень любил его стихотворение: «Не сила народов тебя возвела, // Не воля чужая венчала»<sup>1</sup>. Свидетельство дочери поэта очень важно, но она что-то спутала: видимо, речь должна идти о каком-то другом стихотворении Хомякова, которое Пушкин хвалил. Пушкин не мог знать этого стихотворения Хомякова. Оно написано Хомяковым в 1841 году в связи с перевнесением праха Наполеона в Париж («Еще об нем»).

Константин Аксаков в дневнике 1834—1836 годов неоднократно цитирует Пушкина, который служит ему

<sup>1</sup> ГИМ., ф. 178, ед. хр. 1, л. 38 и об.

путеводной звездой в поэтическом самоопределении. Для него девизом звучит стих: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». В меланхолическом настроении он цитирует «Дар напрасный, дар случайный...», «Под небом голубым страны своей родной...»<sup>1</sup>. Идеалом слияния мысли и звуков в русской поэзии для Аксакова были стихи Пушкина, в частности, «Я был рожден для жизни мирной...»<sup>2</sup>.

Под портретом Пушкина работы Тропинина славянофилы собирались в салоне Елагиной. Этот портрет принадлежал другу поэта Соболевскому и был оставлен им на хранение Елагиным перед отъездом своим за границу в конце 20-х годов. Сам Пушкин бывал в этом салоне. Дух его как бы всегда присутствовал здесь. Иван Аксаков уже гораздо позднее в письме к Н. С. Кохановской от 20 июля 1859 года рассуждал так: гений Пушкина сложился «несмотря на иностранное воспитание» и поэта, и общества, и велик поэт особенно там, где прикоснулся народной речи<sup>3</sup>. Таково было и прочувствованное слово Ивана Аксакова в 1880 году на открытии памятника Пушкину в Москве, приспособливающее народного поэта к славянофильству: Пушкин — наша «первая любовь», «поэт с живой русскою душою», не байронист, не отрицатель, не «аристократ», он за народ, за славян, он воспел Олегов щит на вратах Константинополя и т. п.<sup>4</sup>.

При жизни поэта формирующееся славянофильство так или иначе несло на себе отсветы его поэзии. Вне влияния Пушкина тогда трудно было писать стихи. У Хомякова, например, можно прочитать стих: «И ждет в томленье упование» (стихотворение «Старость»,

<sup>1</sup> ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 5, ед. хр. 31, л. 2, 12, 27.

<sup>2</sup> Там же, лл. 25—26.

<sup>3</sup> «Русское обозрение», 1897, № 2, с. 585.

<sup>4</sup> И. С. Аксаков. Соч., т. VII, М., 1887, с. 813—833.

1827). У Хомякова говорится не о «минуте вольности святой», а о жажде успокоения. Но стих — пушкинский, из послания к Чаадаеву, за которое поэта сослали, и кто из грамотных в России не знал этого стиха? Хомякову вряд ли бессознательно подвернулся в 1827 году другой стих: «И от судеб тебе защита» («К В. Киреевскому»). Он взят из «Цыган», вышедших в том же 1827 году. И еще одно похищение в том же году: «И то заплачу я отрадно, // То горько улыбнуся я» («Элегия на смерть В. Киреевского»). Стих, конечно, сделан по модели пушкинского: «И вашей радости беспечной // Сквозь слезы улыбнуся я».

Пушкин влиял даже фактурой, ритмом стиха. Заразительным оказался, например, такой его ритм: «Город пышный, город бедный, // Дух неволи, стройный вид» (1828). У него здесь говорится о Петербурге, и славянофилам, уже вынашивавшим свою теорию, мог импонировать самый дух отрицания. Хомяков в этом же ритме построил свое обличение коварного Альбиона в стихотворении «Остров» (1836) («Остров пышный, остров чудный: // Ты краса подлунной всей»).

Хомяков называл пушкинского «Пророка» «бесспорно, великолепнейшим произведением русской поэзии»<sup>1</sup>. Но пушкинский герой, принявший божью благодать, пошел «глаголом жечь сердца людей», а у Хомякова, он «богу гими» пропел, наполнил лишь своим голосом мертвое доселе творение природы, землю.

Симптомы собственно славянофильских настроений можно уже уловить в его «Ермаке». Драма писалась в Париже, в 1825 году, когда Хомяков уже провел ряд споров с декабристами на тему о восстании, об ответственности перед присягой. Ермак тоже виноват перед

<sup>1</sup> А. С. Хомяков. Соч., т. VIII. М., 1900, с. 381—382.

царём и богом за свои разбойничьи дела. Покорение Сибири, кажется, искупало все вины. Но в этой лирической драме, так же как и в «Вадиме», Хомяков доказывает, что заслуги, купленные кровью,— не заслуги... Одно за другим снимаются с Ермака проклятия отца, царя, но остается вина перед богом. Герой у Хомякова терзается муками совести как какой-нибудь романтический рефлектер XIX века. Исторического колорита в этой драме нет<sup>1</sup>.

Более удачным оказался «Дмитрий Самозванец» (1826—1832). Видимо, повлиял опыт Пушкина в достижении исторического колорита. Однако в драме Хомякова оспаривается существование «народного мнения»:

...русский любит горячо  
Семью, отчизну и царя; но боле,  
Но пламенней, сильнее любит он  
Залог другой и лучшей жизни — веру.

---

<sup>1</sup> Эта драма, однако, подала бдительной цензуре николаевского времени поводы для придирок; как-никак, а своеобразный Ермак — все же бунтарь. При первом ее представлении в Петербурге в 1829 году роль Ермака играл В. А. Караганин, когда автора не было в России (он служил в это время в Дунайской армии и стоял с полком под Шумлою), цензура изъяла из монолога есакула Мещеряка слова с советом Ермаку не идти с повинной к царю:

Не весели погибелью свою  
Свирепого и дикого безумца,  
Гонителя угодников христовых,  
Венчанного врага земли родной.  
(III дейст., 4 явлен.)

И надо сказать, эти слова сколь смелы, столь же и специфичны для позднейшего славянофильства, резко отрицательно относившегося к despotam на троне. Выпущен и эпитет «кровопийца», хотя, как отмечает в своих заметках отец Хомякова, бывший на премьере, в «Истории» Карамзина он имеется применительно к Ивану Грозному (ГИМ, ф. 178, ед. хр. 7, л. 71 об).

Хомяков не видит никакой необходимости уничтожать Самозванца. Он ставит ему в вину только одно: Дмитрий послушался Марину Мнишек, иезуитов и не перешел в православие. Сумей сделать это, он удержался бы на троне, стал бы русским царем.

Была известная смелость и оригинальность в такой трактовке Самозванца. Это была попытка его оправдания и даже противопоставления Михаилу Романову, вскоре занявшему русский трон. Нужны умные цари, слушающие умных искренних советчиков, соблюдающие веру праотцев — вот «программа минимум» будущего славянофила Хомякова. Позднее славянофилы будут проповедовать идеи улучшения монархического правления путем созыва совещательных Земских соборов, проведения реформ, соблюдения чистоты религии.

«Мнение народное» только к этому совещательному праву и сведено Хомяковым. Во всем остальном — полное небрежение историческим колоритом; Хомякову не хватает объективности в развертывании действия. Созданные им образы слишком открыто дидактичны, холодны и примитивны.

Жизнь то и дело выдвигала новые точки соприкосновения будущих славянофилов с Пушкиным. Но славянофилы все чаще и чаще начинали давать на все вопросы диаметрально противоположные ответы.»

В своеобразное соревнование с Пушкиным Хомяков вступил в 1830 году в своем отклике на Польское восстание. Он написал «Оду» («Внимайте голос истребленья...»), но она не была разрешена к печати царем. Распространились тогда и стали чрезвычайно известными два стихотворения на эту тему: «Клеветникам России» Пушкина и «Русская песнь на взятие Варшавы» Жуковского. В переводе на немецкий язык «Ода» Хомякова, однако, увидела свет в 1831 году вместе с те-

ми двумя стихотворениями в одной брошюре, изданной в Петербурге.

Обычно «Клеветникам России» Пушкина сопоставляется с чисто верноподданнической и малоталантливой «Русской песней...» Жуковского. Но пора бы с «Клеветниками...» сопоставить и «Оду» Хомякова. Сама тема как бы торопила славянофильство высказаться определенно, ведь и «славянский вопрос» войдет в сложившуюся позднее их доктрину.

У Хомякова главная мысль об особой миссии русского «старшего Северного орла», который должен рано или поздно «приосенить своими крыльями» все славянские народы. Впоследствии Герцен упрекал и Пушкина за ложный пафос «на доводы отвечать пушками».

Старая мечта о братстве славянских народов, обсуждавшаяся с Мицкевичем в Москве, в корне искажалась, приобретала реакционный характер. Вместе с тем оба поэта сходились на своеобразном отгораживании русско-польского вопроса от остальных вопросов общеевропейской политики. И Пушкин тут начинал не на шутку славянофильствовать: «Это спор славян между собою,  
// Домашний, старый спор, // Вопрос которого не разрешите вы». Точно так же это дело представлял себе и Хомяков.

О замолчите, битвы громы!  
Остановись, кровавый бой!..  
Потомства пламенным проклятым  
Да будет предан тот, чей глас  
Против славян славянским братьям  
Мечи вручил в преступный час!

Но отгородившись, Пушкин оставлял открытым важнейший вопрос: «Славянские ль ручьи сольются в русском море? // Оно ль иссякнет?..» Он не подсказывал ответа, ответ пусть даст будущее. Хомяков же старался

дать ответ уже сегодня: соединение должно произойти под русским орлом<sup>1</sup>.

Стихотворение Хомякова «Ritterspruch — Richterspruch» («Приговор рыцаря — приговор судьи») написано по делу революционера Канарского, расстрелянного в Вильне в 1839 году. Враг был повержен, самодержавие торжествовало. Хомяков как бы полемизировал с пушкинским стихом — «иль мало нас»: «А если вас много, убьете ли вы Того, кто охвачен цепями...» Но сходится Хомяков с другой мыслью Пушкина: «В борьбы падший невредим; Врагов мы в прахе не топтали». Не тоять, быть великодушным призывает и Хомяков: «Теперь он подъемлет молящие дланы: // Убьешь ли? остыд и позор!»

При всем своем преклонении перед идеей панславизма Хомяков противоречив. В письме к А. О. Смирновой-Россет от 21 марта 1848 года он изложил свои взгляды на то, каким образом должна быть создана свободная, независимая Польша.

Пушкин не застал сложившегося славянофильства, но он застал процесс его формирования. Поддерживая «Европейца» Ивана Киреевского, Пушкин недоверчиво относился к трансцендентализму его издателя. Он отметил в статье Ивана Киреевского «Обозрение русской словесности 1829 года» «слишком систематическое умонаправление автора». Этот систематизм привел потом Киреевского к схоластицизму в чисто славянофильских построениях.

Несогласия Пушкина с «Письмом» Чаадаева обычно сводятся пушкинистами и специалистами по Чаадаеву

<sup>1</sup> Любопытно, что родные и близкие Хомякова считали, что он и Пушкин действуют в этом вопросе заодно. М. А. Хомякова записала: «Утешительно, что от поляков я не слыхала нападок на А. С. (Хомякова.— В. К.), и, думается, что когда-нибудь он и Пушкин будут равно дороги и нам и им» (ГИМ, ф. 178, ед. хр. 1, л. 40).

к патриотизму Пушкина, который не разделял пессимизма своего друга. Но возникает вопрос: в какой мере Пушкин тут совпадал с несогласиями славянофилов? Пушкин еще в 1834 году спорил с попытками Н. Полевого механически применить к истории России «...мысли и формулы, выведенные Гизотом...»<sup>1</sup>. В набросках статьи (1834), отражавшей те же размышления, Пушкин предварял некоторые идеи своего ответа Чаадаеву: «Долго Россия,— писал он,— оставалась чуждою Европе. Приняв свет христианства от Византии, она не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-католического мира. Великая эпоха Возрождения не имела на нее никакого влияния»<sup>2</sup>.

Пушкин не хвалится отгороженностью России от остальной Европы. Но он тут же делает по внешности славянофильское заявление: «России определено было высокое предназначение». В чем же оно? Чаадаев в «Письме» этого вопроса не ставил. Для славянофилов это «предназначение» России заключалось в том, что она должна указать путь Европе, спасти ее от заблуждений, дать ей подлинное христианское просвещение, научить жить в духе мирной общины. Это миссия спасительницы, и осуществление ее в будущем. Пушкин в письме к Чаадаеву от 19 октября 1836 года говорил о выпавшем на долю России «особом предназначении», осуществление которого уже состоялось: Россия остановила нашествие татар. «Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией...» Тем самым Россия — давняя участница в судьбах Евро-

<sup>1</sup> А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. XI. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1949, с. 127.

<sup>2</sup> Там же, с. 268. Не исключено, что в этих высказываниях Пушкина отразилось влияние на него «Писем» Чаадаева, которые поэт читал в рукописи все, задолго до публикации первого из них в «Телескопе» 1836 года.

пы. Хотя и медленно, в ней совершались те же процессы. Чуждость ее Европе все больше исчезала. Наконец, при Петре I «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль,— при стуке топора и при громе пушек... и европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы»<sup>1</sup>. Тут весь ответ Пушкина славянофилам на вопрос: благо или не благо реформы Петра? Тут и ответ Чаадаеву, не видевшему, что Россия уже давно европеизировалась. Совсем «другая» история России, по Пушкину, заключается в том, что на нее не надо накладывать трафареты европейской истории. Но Пушкин развивает, а не оспаривает коренное положение Гизо, высказанное в «Истории цивилизации в Европе»: все цивилизации народов Европы обнаруживают некоторое единство. Как входит в эту цивилизацию русская цивилизация — это и выясняет Пушкин в письме к Чаадаеву.

Пушкин говорит о реальной русской истории и ее единстве: Олег, Святослав, наконец, Петр I, Екатерина II, Отечественная война 1812 года — разве это не реальная история? Пушкин писал: «...клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал»<sup>2</sup>. Тут ответ и славянофилам: исконные «начала» русской народности и влияние Европы — единый процесс. Любить русскую историю надо без изъятий.

Колыбелью славянофилов старшего поколения был кружок русских щеллингианцев, то есть «любомудров». А главной его фигурой бесспорно был Дмитрий Веневитинов. Славянофилы и позднее чтили его память. Любопытно было бы осмыслить связи славянофилов с Веневитиновым. В какой степени он их предшественник, в какой степени они сами были «любомудрами»?

<sup>1</sup> А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. XI, с. 269.

<sup>2</sup> Там же, т. XVI, с. 393 (перев. с франц.).

В личном плане контакты были самые тесные. Собирались у Веневитинова. Во многом юный поэт разделял декабристские настроения. О женах декабристов, отправившихся к мужьям в Сибирь, он сказал: «...это делает честь веку». Весьма были памятны встречи с декабристами, и он чтил этих людей. В Петербург в 1827 году Веневитинов приехал с Федором Хомяковым, старшим братом Алексея Степановича Хомякова, и с господином Воше, французом, перед этим сопровождавшим Екатерину Трубецкую в Сибирь. Видимо, Воше поделился с попутчиками своими впечатлениями. По прибытии в Петербург Веневитинов был вызван для допроса в полицию, что на него произвело потрясающее впечатление. Может быть, это обстоятельство и ускорило его смерть, наступившую через четыре месяца. О тоске, не покидавшей его в те дни, он писал Погодину.

Но развивались у Веневитинова и прославленнофильские мотивы. Д. Д. Благой, например, исследуя взгляды поэта, оставляет открытым ответ на этот вопрос: «Трудно сказать, как пошло бы дальнее развитие Веневитинова — критика и идеолога... Классово-общественная среда как будто бы толкала его к славянофильству. Недаром славянофилами оказались все его ближайшие друзья, в том числе и мечтавший некогда вместе с ним о наступлении для России «великого 1789 года» А. И. Кошелев. Зачатки славянофильских идей несомненно имелись в ряде высказываний самого Веневитинова»<sup>1</sup>.

Хомяков в специальной статье о Веневитинове («Библиотека для воспитания», 1844, ч. I) отводил поэту большое место в русской литературе и в истории общественной мысли, явно имея в виду ту ее ветвь, ко-

---

<sup>1</sup> См. вступ. статью Д. Д. Благого в изд.: Д. В. Веневитинов. Поли. собр. соч. М.—Л., «Academia», 1934, с. 44.

Торую теперь представляли славянофилы. Хомяков считал Веневитинова предтечей славянофилов. «С Веневитиновым,— писал он,— бессспорно начинается новая эпоха для русской поэзии, эпоха, в которой красота формы уступает первенство красоте и возвышенности содержания» (то есть она противостояла «гладкописи» пушкинской эпохи.— В. К.). Но точнее Хомяков выразился и о самом содержании: «...его явление было учительным признаком начинающегося более самобытного и зрелого просвещения в России»<sup>1</sup>.

В декларациях Веневитинова следует различать два момента: весьма плодотворное требование от поэзии и критики, чтобы они выражали целостное философское мировоззрение, и непродуктивное требование, чтобы такой философией стало шеллингианство, в котором уже тогда обозначалась тенденция к религиозной мистике.

Славянофилы приняли обе части программы Веневитинова и подчинили ее своей доктрине. Неизвестно, как Веневитинов отнесся бы к самому учению славянофилов: ведь ему был близок и мятежный байронизм, и гетеанская гармония. Но в творчестве его было много родственных славянофилам мотивов. Это и шеллингианский пантеизм, растворенность субъективного «я» в органической целостной природе. Таковы же стихи Хомякова «Заря» (1825), «Молодость» и «Желание» (оба 1827 года). Веневитиновская тема об особой миссии поэта, вероучителя:

Не много истинных пророков  
С печатью власти на челе,  
С дарами высших уроков,  
С глаголом неба на земле...

и была подхвачена Хомяковым:

---

<sup>1</sup> А. С. Хомяков. Соч., т. I. М., 1914, с. 393.

Он к небу взор возвел спокойный,  
И богу гимн в душе возник;  
И дал земле он голос стройный,  
Творенью мертвому язык.  
(«Поэт», 1827)

Хомяков придавал особую русскую «огласовку» немецкому идеализму и романтизму.

Славянофилы выработали, как им казалось, самый широкий взгляд на жизнь, смеялись над политиками, эмпириками, сулили и обещали вывести Россию и человечество на истинный «не мертвый» путь.

Шеллинганская тезисы о необходимости «самопознания», о том, что «цель человека есть цель всего человечества», развивались Веневитиновым в том именно направлении, в котором пошла и мысль славянофилов, исходившая из тех же предпосылок. «С сей точки зрения,— писал Веневитинов в статье «Несколько мыслей в план журнала», ставшей программой их совместного органа «Московский вестник»,— должны мы взирать на каждый народ, как на лицо отдельное, которое к самопознанию направляет свои нравственные усилия, означененные печатью особенного характера»<sup>1</sup>.

Тут уже намечается идея отгораживания всего русского как особенного. Со временем последователями Веневитинова все больше забывалась общая цель человечества. Им даже казалось, что особенность народа обрисуется тем более ярко, чем сильнее он отгородится от остального человечества.

Самопознание возможно через просвещение, а просвещение должно расти из своего корня. Это положение будущего славянофильства есть уже у Веневитинова: «У всех народов самостоятельных просвещение развивалось из начала, так сказать, отечественного»<sup>2</sup>. В чем оно? — поэт ничего внятного сказать не мог.

<sup>1</sup> Д. В. Веневитинов. Полн. собр. соч., с. 216.

<sup>2</sup> Там же.

Но что Россия получила его извне, это казалось само собой разумеющимся. Отсюда — дух подражательности, отсутствие всякой свободы и истинной деятельности. Мысли чаадаевские, но уже в перевернутом виде: со скорбью говорится о поисках выхода из «наружной формы образованности». Отсюда — «мнимое здание литературы», рожденной в России «без всякого основания», «без всякого напряжения внутренней силы». Чтобы развить внутреннюю энергию, необходимо изолироваться. Веневитинов прямо предварял славянофильство в таких своих заявлениях: «Для сей цели надлежало бы некоторым образом устраниТЬ РоссиЮ от нынешнего движения других народов, закрыть от взоров ее все маловажные происшествия в литературном мире, бесполезно развлекающие ее внимание и, опираясь на твердые начала философии, представить ей полную картину развития ума человеческого, картину, в которой бы она видела свое собственное предназначение»<sup>1</sup>.

Славянофилы намеренно отгораживали Россию от Европы, навсегда отворачивали ее взоры от всего происходившего в мировой литературе и, сами опираясь на маловажных теоретиков (Ботен, Баадер), старались заложить философские основания для русской «самобытности». Они доводили мысль Веневитинова до полного абсурда.

Из «любомудров» к славянофильству пришли Иван Киреевский и отчасти Хомяков. Из кружка Н. В. Станкевича вышел Константин Аксаков. В обоих случаях перед нами «любомудрие». Возникает вопрос, в каком отношении «любомудрие» Станкевича и поэтов его кружка связано со славянофильством.

Заодно с «любомудрами» Станкевич разделяет шеллингианскую идею о «руководящей идее», о «народах — личностях». Но жизнь «идей в себе» его не удовлетво-

<sup>1</sup> Д. В. Веневитинов. Полн. собр. соч., с. 216.

ряла. Он писал М. А. Бакунину весной 1840 года из Рима, что идея должна перейти в дело<sup>1</sup>. Как и у Белинского в период «примирения» (и у Бакунина до 1840 года), в сознании Станкевича на первое место становится практика, опора на историю и даже на государство. Он хочет уйти от абстрактного толкования «личности» и «народности». И то и другое реализуется, по мысли Станкевича, в государстве. Отсюда элементы «примирения» с действительностью. В письме Станкевича к супругам Фроловым из Эмса от 13 июня 1839 года читаем: «Я теперь более и более убеждаюсь в том, что утверждает Гегель: что сфера государства есть одно спасение от субъективных Laupen (причуд.—В. К.), что здесь человек находит себе Halt — опору<sup>2</sup>.

Станкевич, как и Белинский и несколько раньше, до отъезда за границу, их друг Бакунин, считал, что оптимизм можно обрести в «примирении с действительностью». Но не в чисто филистерском смысле, как, скажем, у Шевырева, а чтобы правильно разрешить вопрос о свободе и необходимости,— в конечном счете найти реальный выход к активному деянию.

Станкевичу не понравилось фантазерство в романе Ж. Санд «Леоне Леони». Он против бесстрастного соединения добра и зла: в жизни так не бывает. Он ощущал внутреннюю боль истории, что было уже и симптомом выхода из «примирения». Отсюда у Станкевича в конце его короткой жизни — конкретность подхода к общественным проблемам, пытливое проникновение в закономерности действительности. Он разошелся бы с славянофилами, так как они только повторяли свои сплогизмы, двигаясь в замкнутом кругу. «Чего хлопочут люди о народности? — записал в дневнике Станкевич, словно прислушавшись к начинавшимся спорам

<sup>1</sup> «Переписка Н. В. Станкевича». М., 1913, с. 672.

<sup>2</sup> Там же, с. 680.

славянофилов.— Надобно стремиться к человеческому, свое будет поневоле»<sup>1</sup>.

Он, по сути, спорил с Шевыревым, объявлявшим направление Гегеля фальшивым для России. По его мнению, Гегель для России так же подходит, как и для Германии. В письме к Фроловым от 13 марта 1840 года из Рима он заявлял: «...что правда для немца, то правда и для русского...»<sup>2</sup> То есть, по мнению Станкевича, немецкая философия вполне может «вкорениться» в России.

В момент «примирения» с действительностью Станкевича и Белинского славянофилы внешне были большими оппозиционерами, чем они. На деле же Станкевич и особенно Белинский хотели покончить с априорным, волюнтаристским «отрицанием» действительности. Эта их теория питала и критический реализм в литературе. Славянофилы же оставались на исходных романтических позициях.

Константин Аксаков должен был отколоться от кружка Станкевича, порвать с ним. Он не разделял ни его западничества, ни его стремления перейти от Шеллинга к Гегелю. И это повредило К. Аксакову, остановило его духовное развитие. Что же он принес из кружка Станкевича в славянофильство? Полноту внимания ко всей немецкой идеалистической философии, с переменчивым интересом то к одному, то к другому философу. Словно прияя с вечера у Станкевича, Константин Аксаков записал в «Дневнике» о своем приобщении к высшему «любомудрию»: «Я не знал никаких немецких философий: недавно я узнал систему философии Канта, Фихте, Шеллинга; как взволновалась душа моя! Особенно философия Фихте заставила меня задуматься; это чудная философия, все выводящая из своего

<sup>1</sup> «Из дневника», 1837 г. «Переписка П. В. Станкевича», с. 754.

<sup>2</sup> Там же, с. 688.

«Я»<sup>1</sup>. Субъективизм никогда не претил славянофилам, и Фихте вполне устраивал Аксакова. Но и к Гегелю он был ближе других своих единоверцев. В отличие от Ивана Киреевского, любившего в диалектике момент покоя, Аксаков любит само движение, отрицание отрицания. Он знает, что «сомнение» — мать познания. В том же «Дневнике» есть запись: «Сомнение — вот слово, вот острый меч, рассекающий все, ничто не убежит от него, ни даже истина нашего бытия»<sup>2</sup>. Но диалектика выветрилась у Аксакова в его славянофильских выступлениях. Осталась только склонность к парадоксам, игре синонимами.

Поэтическое творчество Константина Аксакова мало отразило философские интересы. У него можно позднее уловить лишь отголоски шеллингианского учения об искусстве, не заинтересованном в мирских делах («Орел и поэт», 1833). В остальной же части его поэтическое творчество почти с самого начала было настроено на славянофильский лад с желанием «грешить торжественным глаголом» (см. «Я видел Волгу, как она...», «Воспоминание», «Когда, бывало, в колыбели...», «Мечтание» и др.). Он хвалил все русское, Москву, сельскую жизнь и проклинал городскую суету. И все это резко отделяло его от Станкевича и делало явным последователем Хомякова.

Особый интерес будущих славянофилов вызывал Баратынский. С 1826 года поэт безвыездно жил в Москве и в Муранове. В светском кругу он почти не появлялся. Но с некоторыми славянофилами, в частности с Иваном Киреевским, был в дружбе и переписке (самое большое число писем адресовано ему). Тесные контакты приходятся в основном на первую половину 30-х годов. Доктрины славянофилов Баратынский не разделял. Он был «слишком» поэтом пушкинской эпохи.

<sup>1</sup> ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 5, ед. хр. 31, л. 14.

<sup>2</sup> Там же, л. 10.

Чувство страшного одиночества после 14 декабря 1825 года заставило Баратынского, в прошлом друга А. Бестужева и Рылеева, искать связей с новыми людьми. Он обсуждал с Иваном Киреевским дела журнала «Европеец». Запрещение журнала навело на него «хандру». Баратынский предлагал: «...будем мыслить в молчании...» Отсюда и «поэзия мысли». Чуть позднее он писал Киреевскому о своей полной изоляции в жизни: «Я давно выпустил из виду общие вопросы для исключительного существования<sup>1</sup>. А славянофилы в это время как раз погружались в «общие вопросы», выработку своей доктрины.

В поэзии Баратынского были ноты, которые перекликались с некоторыми поэтическими формулами славянофилов. В отдельных случаях даже приоритет принадлежал последним. Стремление Баратынского «идти своею дорогой», создание философской лирики ставило его в преемственные связи с поэзией «любомудров» и славянофилов.

В стихотворении «Последний поэт» (1835) Баратынский элегически выразил одну из своих заветнейших идей: «Век шествует путем своим железным», то есть век индустриального, европейского развития, враждебного подлинной поэзии<sup>2</sup>. «Все мысль да

---

<sup>1</sup> Е. А. Баратынский. Стихотворения, поэмы, проза, письма. М., Гослитиздат, 1951, с. 524.

<sup>2</sup> Эта классическая формула закрепилась за Баратынским в русской поэзии. Но рождалась она коллективными усилиями и исподволь. Пушкин еще в 1829 году, приветствуя выход в свет «Стихотворений» Дельвига и посыпая ему из Москвы в Петербург статуэтку бронзового грифа, написал: «Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы? // В веке железном, скажи, кто золотой угадал?» (опубликовано в 1830 г.). Думается, от поэтической формулы Пушкина появились позднее и стихи Фета в честь Тютчева: «На льдинах лавр не расцветет», «У чукчей нет Анакреона». Слишком запомнился резкий поэтический ход мысли, броская контрастность образов, но содержание, разумеется, вкладывалось разное.

мысль», — воскликнул Баратынский в другом стихотворении, считая, что рационализм убивает подлинное вдохновение.

За семь лет до «Последнего поэта» и независимо от Пушкина в стихотворении Хомякова «Три стакана шампанского» уже говорилось: «...наш век есть век чугунный», и этот черственный век противопоставлялся лучшему, воображаемому миру, где есть дружба, любовь. За четыре года до «Последнего поэта», в стихотворении Хомякова «Разговор» (1831) уже можно было прочесть:

И эгоизм, как червь голодный,  
Съедает наш печальный век.  
Угасло пламя вдохновенья,  
Увял поэзии венец  
Пред хладным утром размышлья,  
Пред строгой сухостью сердец.

Мысль о несовместности современного века с поэзией была устойчивой у славянофилов и варьировалась ими на разные лады. В 1846 году Иван Аксаков в послании к поэтессе Юлии Жадовской разрабатывал сходные элегические мотивы:

В наш век пересуда, страдальческий век,  
Сомнений, вопросов, раздумья,  
Стал скучен душой и бежит человек  
Порыпов святого безумья.

А ведь еще несколько лет тому назад Н. А. Полевой воспевал «Блаженство безумия» (так назван у него один из романов), совсем недавно «поэтический беспорядок» считался признаком настоящего вдохновения (такова, например, поэзия Языкова).

Баратынский мог сойтись со славянофилами в критическом отношении к пушкинской «Сказке о царе Салтане...». Вообще, как и Хомяков и Языков, он не одобрял литературных обработок сказок, полагая, что

фольклор должен сохраняться в нетронутом виде. Он многое ожидал от «Дмитрия Самозванца» Хомякова и, только по слухам зная о «Борисе Годунове», заранееставил его ниже драмы Хомякова.

Но этим лемногим и ограничивались совпадения Баратынского со славянофилами.

Парадокс, но и бесспорный факт: «поэт мысли», Баратынский был, собственно, противником мысли в поэзии. Он ратовал за чистое, беспримесное вдохновение. И самому Пушкину советовал: «Твори прекраснос, и пусть другие ломают над ним голову». Славянофилы же были сторонниками программной гражданской поэзии, поэзии «своих мыслей». Они порицали «эгоизм» века, но свой эгоизм как сторонников определенной доктрины и догматики они прославляли и навязывали другим.

Баратынскому претил фанатизм подобного рода. Он считал, что «время поэзии индивидуальной прошло, другой еще не наступило». Какая же это «другая» поэзия? В письме к Ивану Киреевскому в июне 1832 года он близко коснулся вопроса, от решения которого зависело сближение или расхождение его со славянофилами. Для создания новой поэзии недоставало именно новых сердечных убеждений. Он считал, что на Западе могут быть «фанатики идеи». Но то, «что для них действительность, то для нас отвлеченност», «мы свергнули старые кумиры и еще не уверовали в новые», «Человеку, не находящему ничего вне себя для обожания, должно углубиться в себе. Вот покамест наше назначение<sup>1</sup>. Баратынский не разделял никаких иллюзорных убеждений. По линии такой самоуглубленности развивалась впоследствии и поэзия Лермонтова, чуждая ложных компромиссов. А пока, считает Баратын-

<sup>1</sup> Е. А. Баратынский. Стихотворения, поэмы, проза, письма, с. 520.

ский: «Поэзия веры не для нас»<sup>1</sup>. Последние слова можно понимать двояко. У нас нет еще общественных идей («веры»), которые связывались бы с именами новых кумиров, своих Гюго и Барбье (имена французских гражданских поэтов называются в письме). Но Баратынский и против каких-либо эрзацев «поэзии веры» в буквальном смысле, он против поэзии религиозной, нехристианской или какой-либо иной. А именно такую особую «веру» и сочинят вскоре славянофилы, причем не в условиях реакции, а в условиях общественного подъема, в сороковых годах, и будут искренне воевать с представителями иных «сердечных убеждений». Тутто и расходился Баратынский со славянофилами. Не они с ним, а он с ними порывал.

В самом конце жизни, во время заграничной поездки, Баратынский решительно обратился к Западу. В его понятии «веры» не было противопоставления России остальному миру. Наоборот, отсутствие в духовной жизни России той самой веры, которая питает «Ямбы» Барбье, он считал великим недостатком. В Париже он «залечил старые раны», то есть хандру. Его радует, что здесь «русские ищут русских...», «Самые ветреные из них догадываются, что у нас есть на сердце...»<sup>2</sup>. Начались у Баратынского интересные встречи, замелькали в письмах имена новых знакомых: Виньи, Нодье, Сент-Бёв, Тьери, Гизо, Мериме. Баратынский надеялся познакомиться с Жорж Санд. Он анализировал поведение различных политических партий, он жаждал деятельности. Вот настоящее поприще для неспокойного духа и ищущего ума. Продуктивного энтузиазма, а не выморочного славянофильского «фанатизма» хотел Баратынский и для России, куда его теперь тянуло еще

<sup>1</sup> Е. А. Баратынский. Стихотворения, поэмы, проза, письма, с. 520.

<sup>2</sup> Там же, с. 533.

больше... Смерть не дала этим надеждам осуществиться.

Множество точек пересечения имелось у славянофилов и с Лермонтовым.

Как у декабристов и Хомякова, так и у Лермонтова и славянофилов некоторые идеи и образы росли как бы из общего корня.

В драме «Странный человек» (1831), во многом автобиографической, в уста спорящих героев-студентов вложены следующие слова: «Господа! когда-то русские будут русскими?» — «Когда они на сто лет продвинутся назад и будут просвещаться и образовываться снова... здорова». В «Измаил-Бее» (1832) героя-черкеса автор утешает таким образом: «Пускай ты раб, но раб царя вселенной», царской России пророчится роль «нового грозного Рима» со своим Августом... О самом же герое, потерявшем родину, сказано, что он «Развратом, ядом просвещенья в Европе душной заражен!». В «Умирающем гладиаторе» (1836) о гниющем Западе есть такие строки:

Не так ли ты, о европейский мир,  
Когда-то пламенных мечтателей кумир,  
К могиле клоницься бесславной головою...

По-славянофильски звучат и заявления в поэме «Сашка» (1839), опубликованной уже после смерти автора: «Я враг Неве и невскому туману», там «...веселье вредно русскому карману. // Занятья вредны русскому уму».

Лермонтов, автор «Песни про купца Калашникова», нравился Хомякову: как изумительно постиг поэт дух народного творчества! Он воспроизвел старину, нарисовал образ патриархального купца, праведника, исполненного чувства чести и собственного достоинства, осудил грозного царя — деспота, его опричнину.

Все это импонировало славянофилам<sup>1</sup>. Произведения Лермонтова были любимым чтением в их кругу. Елизавета Елагина (сестра Ивана и Петра Киреевских) писала отцу за границу 22 февраля 1843 года об одном вечере, когда у них собирались гости: Герцен с женой, Н. Х. Кетчер, А. Д. Галахов, Боборыкин, Константин Аксаков, Языков, Свербеев: «Грановский привез 8 новых чудных пьес Лермонтова, которые Кетчер прочитал вслух и по песням успели переписать...»<sup>2</sup> Хомяков

<sup>1</sup> А. П. Елагина рассказывала П. А. Висковатому: «Жаль, что Лермонтову не удалось ближе познакомиться с сыном моим Петром — у них некоторые взгляды были общие» (см.: П. А. Висковатов. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 1891, с. 368—369). М. К. Азадовский высказывал предположение, что Лермонтов, создавая свою «Песнь про купца Калашникова», читал не только Киршу Данилова, но и рукописные исторические народные песни, собранные Петром Киреевским, вероятно, не без участия Святослава Раевского (см.: М. К. Азадовский. Статьи о литературе и фольклоре. М.—Л., Гослитиздат, 1960, с. 212—259). Эту версию поддерживает и А. Д. Соймонов в книге «П. В. Киреевский и его собрание народных песен». Л., «Наука», 1971, с. 272—273. И все же мы думаем, что этого слишком мало, чтобы говорить о «славянофильстве» Лермонтова.

<sup>2</sup> По-видимому, речь идет о восьми стихотворениях Лермонтова, которые затем Грановский переслал для публикации в «Отечественных записках». В № 12 за 1843 г. в этом журнале появились стихотворения Лермонтова: «К портрету старого гусара», «Незабудка», «Избави бог от летних мушек...», «Смерть», «Романс К \*\*\*», «Они любили друг друга так долго и нежно...», «Когда весной разбитый лед...», «Ребенка милого рожденье...». Редактор Краевский сделал при публикации следующее примечание: «Счастливый случай доставил нам в руки еще восемь стихотворений Лермонтова. Несмотря на то, что некоторые из них носят на себе печать таланта далеко незрелого и принадлежат к эпохе самой ранней юности покойного поэта, мы решились напечатать их, почитая драгоценностью всяко строку, написанную Лермонтовым. Повторяя свою просьбу к тем особам, которые имеют у себя его стихотворения еще не известные публике, не скрывать их далее и обнародовать посредством журналов. «Отечественные записки» всегда готовы в этом случае служить им посредником, как были и до сих пор предпочтительно перед другими журналами» («Отечественные записки», 1843, т. XXXI, № 12, отд. 1, с. 194).

хвалил Лермонтова за мастерство стиля в «Бэле». Подлинная мощь таких романтических поэм, как «Мцыри», нравилась в этом кругу. Свою поэму Лермонтов читал в 1840 году в доме Погодина на Девичьем поле, где присутствовали Хомяков, Самарин и Гоголь.

Иван Аксаков ознакомился при помощи А. О. Смирновой-Россет с письмом поэта к С. А. Бахметевой от первой половины августа 1832 года, в котором он описывал свои первые впечатления от Петербурга по приезде туда для учения в школе гвардейских подпрапорщиков. В письме Лермонтов говорит, что страшно скучает в здешнем свете, молча просиживает вечера в обществе и не может найти ключа к здешним умам. «Другой он был тогда», то есть гораздо лучше,— писал Иван Аксаков родным из Калуги в декабре 1845 года, когда поэта не было уже в живых<sup>1</sup>. Иван Аксаков считает, что петербургский свет «испортил», «исклизил», «отщеславил» Лермонтова. А между тем в поэте, по мнению славянофилов, были задатки для сближения с ними. Но «борьба» славянофилов за Лермонтова успеха не имела еще при жизни поэта.

Незадолго до своей гибели Лермонтов всерьез помышлял о выходе из военной службы, о журнальной деятельности: хотел издавать журнал, в котором видное место заняла бы тема Востока. Эти свидетельства собрал в свое время П. Висковатов.

Но Висковатов придал им явно тенденциозное истолкование. Мы однажды уже рассматривали этот вопрос и пришли к выводу, что размышления о Востоке и о своем журнале у Лермонтова ничего общего с уклоном в сторону славянофильства не имели: «менять» Запад на Восток он не предполагал.<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> См.: «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», т. 1, ч. 1, с. 308.

<sup>2</sup> См.: В. И. Кулешов. «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX века. Изд-во МГУ, 1958, с. 40—43 и др.

Конечно, Лермонтов сложен и противоречив, он умер так рано, его взгляды по некоторым вопросам еще не определились со всей четкостью. Он во многом оставался в страстных поисках и откликах на голоса жизни. Быть «русским» — его заветное желание. Но со всей определенностью вырисовывается антиславянофильская направленность общего пафоса его творчества, борца и патриота. Славянофил не бросил бы гневный стих: «Гроцай, немытая Россия». И мы знаем, такие стихи стоили поэту дорого, но они были истинным проявлением его великой, страдальческой, единственную верной любви к Родине, жажды, чтобы она перестала быть «страной рабов, страной господ». Для славянофилов Лермонтов был «байронистом», поэтом непримиримой «гордости» и «вражды», «безочарования» (слова Жуковского о нем). Богоборчество, «с небом гордая вражда», «демонизм» — все это отталкивало от Лермонтова славянофилов.

Нельзя согласиться с выводом В. Д. Спасовича, рассматривавшего вопрос о «байронизме» Лермонтова, что великий русский поэт был «человеком беспочвенным»<sup>1</sup>. Он-де метался от одной родины к другой (Россия, Шотландия), от одной веры к другой (славянофильство, западничество). На это можно возразить следующее: Лермонтов как борец с самодержавием и крепостничеством за новую, «гражданскую» Россию совершенно ясен. Другое дело личные отношения: тут могли быть временные симпатии и творческие сближения.

Нельзя признать веским предположение Б. М. Эйхенбаума, будто в стихотворении «Журналист, читатель и писатель» (опубл. в «Отечественных записках», 1840) Лермонтов под маской писателя вывел не самого себя,

<sup>1</sup> В. Д. Спасович. Соч., т. II. СПб., 1889, с. 351.

а Хомякова. Основанием для такого заключения послужил сохранившийся в «Чеченском альбоме» Лермонтова 1840 года рисунок карандашом, на котором изображен сидящий в кресле человек, похожий на Хомякова, а перед ним около камина — офицер, имеющий сходство с Лермонтовым. Эйхенбаум считает, что здесь изображена беседа, описанная в стихотворении. Перед нами ситуация, когда третий участник разговора, «журналист» (под которым, по мнению Эйхенбаума, надо разуметь Н. А. Полевого), еще не вошел в комнату, беседуют пока двое<sup>1</sup>. Но в связи с предположением Эйхенбаума возникает множество недоуменных вопросов, на которые исследователь ответа не дает. Альбом принадлежал Лермонтову. Рисунок вряд ли можно рассматривать как «иллюстрацию» к стихотворению или его графический комментарий. Этим объясняется отсутствие третьего лица, «журналиста». Все три лица обозначены в заголовке стихотворения. Трудно согласиться с толкованием, что Лермонтов скрывается под маской «читателя». Какой же он читатель, особенно в соотнесении с Хомяковым? Но главное в том, что речи «писателя» в стихотворении Лермонтова настолько не соответствуют хомяковским высказываниям о литературе и о жизни, что предположение Эйхенбаума повисает в воздухе как бездоказательное. Таким образом выпадает один из сильнейших аргументов в пользу того мнения, что Лермонтов в конце жизни начинал сближаться с славянофильством.

Необходимо специальное графическое, искусствоведческое исследование вопроса: рукою ли Лермонтова

<sup>1</sup> Б. М. Эйхенбаум. Литературная позиция Лермонтова.—«Литературное наследство», т. 43—44, с. 63. Перепечатано в книге: Б. М. Эйхенбаум. Статьи о Лермонтове. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1961, с. 105.

сделан рисунок?<sup>1</sup>. Может быть, рукой главного рисовальщика в славянофильском кругу Э. А. Дмитриева-Мамонова? Его многочисленные сохранившиеся рисунки очень похожи на этот рисунок по графике, особенно профиль Хомякова, которого он рисовал несколько раз и также карандашом (см. «Альбом А. П. Елагиной» в ИРЛИ). Представим себе ситуацию еще и психологически. Труднее предположить, чтобы Лермонтов по памяти сам рисовал себя и Хомякова уже после состоявшегося спора, воспредизводя камин со всеми его украшениями, облокотясь у которого стоит военный. Скорее все это рисовал кто-то с натуры, во время разговора. Лермонтов изображен в позе офицера, даже не отстегнувшего в салоне сабли, что было нарушением общепринятого этикета. Сабля откинута в сторону собеседника, и это как бы приобретает вызывающий смысл.

Обращает на себя внимание надпись по-французски на рисунке, как бы поясняющая его смысл: «Diplomatie civil et militaire» (дипломатия гражданская и военная). Ракурс рисунка весь дан как бы со стороны третьего лица, а не Лермонтова, который не поставил бы Хомякова в центр спора.

Самое же главное: как трактовать надпись? О какой дипломатии идет речь? Как загадочно здесь слово «дипломатия». Хомяков был «дипломатом» в спорах, это известно, но Лермонтов!.. Должен ли он тут играть роль некоего бравого «военного», который на хитроумные доводы интеллектуала «гражданского» отвечал побрякиванием сабли... Что-то не похоже на Лермонтова, автора «Думы» и «Героя нашего времени». Остается зада-

<sup>1</sup> В этом не сомневается Т. А. Иванова, сделавшая интересный доклад «Логика прочтения «Чеченского альбома» на Всесоюзной лермонтовской конференции в МГУ в 1972 году. Она выдвигает версию, что предметом разговора двух лиц на рисунке был только что вышедший роман «Герой нашего времени», что гораздо вероятнее, чем предположение Б. М. Эйхенбаума.

ча — доказать, что рисунок сделан рукой Лермонтова. В «Чеченском альбоме» есть один рисунок, по общепринятым мнению, заведомо не лермонтовский. Значит, мы имеем уже прецедент, в альбом рисовали и другие лица. Почему не предположить, что и этот рисунок сделан не Лермонтовым?<sup>1</sup> Конечно, решающее слово останется за чисто графической экспертизой. Она еще не проделана. Поэтому мы и приводим свои скептические доводы, которые помогли бы правильно решить вопрос.

Попытаемся выяснить, где происходил спор. Можно предположить: в салоне поэтессы К. Павловой, на Рождественском бульваре. Этот дом сохранился (№ 14). Он впоследствии принадлежал Н. Ф. фон Мекк, известной по переписке с П. И. Чайковским. Сейчас здесь государственное учреждение. Мы недавно осмотрели его. Здание перестраивалось, внутренние перегородки мешают представить себе прежний интерьер. Но в одном из кабинетов сохранился старинный камин, правда, видимо, с позднейшими украшениями<sup>2</sup>. Сохранилась и парадная лестница с позолотой. Из биографии Лермонтова известно, что именно из салона Павловых поэт отправился на Кавказ в конце мая 1840 года<sup>3</sup>. Тут и

<sup>1</sup> Кстати сказать, Б. М. Эйхенбаум в указанной статье и считал, что рисунок не лермонтовский.

<sup>2</sup> А. А. Фет много лет спустя вспоминал этот камин: «...у Павловых на Рождественском бульваре <...> все, начиная от роскошного входа с парадным швейцаром и до большого хозяйствского кабинета с пылающим камином, говорило если не о роскоши, то по крайней мере о широком довольстве» (А. Фет. Ранние годы моей жизни. М., 1893, с. 213). В весеннее время встречи Лермонтова с Хомяковым камин, естественно, не пыпал, и потому он и изображен на рисунке холодным. Что касается пристегнутой сабли, то можно представить себе, что все происходит в кабинете, в мужском обществе, когда Лермонтов уже собирался в путь.

<sup>3</sup> В. А. Мануйлов. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. М.—Л., «Наука», 1964, с. 132.

могла произойти у него встреча с Хомяковым. Об этом рассказывает очевидец Ю. Ф. Самарин<sup>1</sup>.

Какие-то дружеские отношения завязались у Лермонтова только с Самариным, который ждал, когда же Лермонтов оторвется от своей «эгоистической рефлексии» и вполне станет «нашим», искупит лежащий на нем «великий грех» издания романа «Герой нашего времени». Через Самарина поэт передал для публикации в «Москвитянине» свое стихотворение «Спор» с просьбой не изменять в нем ни слова<sup>2</sup>. В письме к Языкову 20 мая 1841 года Хомяков выражал озабоченность судьбой поэта, как бы он не попал под пулю черкеса на Кавказе, «а он с истинным талантом и как поэт, и как прозатор» (то есть прозаик)<sup>3</sup>. Во что бы вылились эти дружеские отношения, трудно сказать.

Творческая перекличка шла издавна между Хомяковым и Лермонтовым. Присмотримся внимательнее к поэтическим мотивам той и другой стороны, темам непонятого, какого-то однокого, исключительного бытия, предчувствия тайного смысла жизни, раскрываемого сознанию в избранные мгновения, пробуждающего коснеющую безмолвную вселенную. Многие мотивы Лермонтова мы можем встретить у Хомякова задолго до того, как они были замечены и закреплены в сознании как «лермонтовские». Звезды, поющие хвалу богу,— излюбленный образ Хомякова. В их веселом хороводе, в расчисленном порядке светил не радуется жизни лишь «одна звезда» — наша Земля. И это избранничество — тоже характерный прием романика Хомякова, предваряющего романтика Лермонтова.

<sup>1</sup> «Два или три вечера мы провели у Павловых и у Свербеевых. Лермонтов угадал меня. Я не скрывался. Помню последний вечер у Павловых. К нему приставала Каролина Карловна Павлова. Он уехал грустный» (Ю. Ф. Самарин, Соч., т. XII. М., 1911, с. 56, пер. с франц.).

<sup>2</sup> Там же, с. 75.

<sup>3</sup> «Русский архив», 1884, кн. 3, с. 206.

Уже в 1827 году у Хомякова звучали такие «лермонтовские» кадансы:

Одна, печально измеряя  
Никем не знанные лета,  
Земля катилася немая,  
Небес веселых сирота.

(«Поэт»)

Хомяков знает, как «надежда» «смертным вечно лжет», как тленно и тщетно все на свете, как пройдут века, народы сгибнут, державы рассыпятся. И человек будущего хаоса поистине осознает, что «...горькая насмешка славы одна осталась от веков». В заключительном стихе зреет уже будущая лермонтовская знаменитая формула о потомке-гражданине, который с «насмешкой горькою обманутого сына» заклеймит «промотавшегося отца».

Чувствуются элементы лермонтовских формул и в таких оборотах Хомякова, как «не презирай клинка стального» «в отделке древности простой», «на нем пыль забвенья», когда-то он «по латам весело стучал», а теперь его покрыла «седкая ржавчина времен» («Клинок», 1830). Вспомним лермонтовский образ кинжала в «отделке золотой», а теперь покрытого «ржавчиной презренья» в стихотворении «Поэт» (1838).

У Хомякова мы находим модели лермонтовских поэтических конструкций: «Я жить хочу! хочу печали», «Что без страданий жизнь поэта, и что без бури океан», «Он даром славы не берет», или: «Я ищу свободы и покоя», «И на челе его высоком не отразилось ничего». У Хомякова в стихотворении «Желание покоя» (1825) читаем:

Прости... Но нет! Мой дух пылает  
Живым, негаснущим огнем,  
И никогда чело не просияет  
Веселья мирного лучом.

Он жаждет брани и свободы,  
Он жаждет бурь и непогоды  
И беспредельности небес!

У Хомякова, может быть у первого из русских поэтов, мы встречаем (в отличие от Жуковского) органическое слияние современной субъективной рефлексии и мотивов разочарования с экзотикой восточного пейзажа. Живительные источники недолги и могут лишь на какой-то миг удовлетворить жажду. Так, посреди чопорного Петербурга только салон Карамзиных казался Хомякову, как потом и Лермонтову, прибежищем от скуки и пошлости света. Лермонтовские «Три пальмы» и «На севере диком стоит одиноко...» уже предчувствуются в стихах Хомякова:

Так средь Аравии песчаной  
Над степью дерево растет:  
Когда его глубокой раной  
Рука пришельца пресечет.  
(«Вдохновение», 1828)

Или:

Так в недрах степи раскаленной  
Среди губительных песков  
Отрадны оазис зеленый,  
И пальмы тень, и ключ студеный,  
И песни счастливых пастухов.  
(«В альбом С. Н. Карамзиной», 1832)

Когда вполне обозначились контуры славянофильской доктрины, тогда начался великий «спор» Лермонтова с славянофилами, и уже отдельные совпадения в мотивах и поэтических формулах ничего не значили. Например, выпады великого поэта против «надменных потомков», которые «жадной толпой стояли у трона», уже не таили в себе ничего славянофильского. Не было тут даже и рылеевской идеи о «переродившихся славянах»; это и не языковская «немецкая нехристь»; это — чисто лермонтовский политический спор с двором, с

убийцами Пушкина, которые являются Свободы, Генния и Славы палачами. И даже Данте ему неприятен не потому, что он «французик из Бордо», а потому, что он, как и все придворные,— враг тех же ценностей. Русские аристократы поощряли его, чтобы он, «смеясь», «дерзко презирал земли чужой язык и нравы». Если уж они не пощадили русского гения и русской славы, то что же было спрашивать с иностранца! Впрочем, в своем известном ответе сыну французского посла де Баранту, приведшем в 1840 году к дуэли, Лермонтов заявил решительно, что и в России есть люди, которые не хуже, чем во Франции, понимают долг чести и могут постоять за себя.

Для характеристики взглядов Лермонтова и славянофилов характерны два знаменательных случая.

Однажды на страницах «Отечественных записок» столкнулись два понимания «родины». В ноябрьском номере за 1839 год появилось стихотворение Хомякова без заглавия, начинавшееся словами «Гордись! — тебе льстцы сказали». Тогда же оно появилось с различными купюрами в «Санкт-Петербургских ведомостях» и в «Маяке». Стихотворение вызвало самые различные оценки современников. Откликнулся и Лермонтов: его «Родина» (в автографе имеет название «Отчизна») появилась в «Отечественных записках» в апрельском номере 1841 года, то есть полтора года спустя. Не случайно оно было воспринято как своеобразный «ответ» Лермонтова Хомякову. Рационалистическому славословию Хомякова Лермонтов противопоставил «странную» свою любовь к отчизне, которую трудно изъяснить и победить рассудком. Любовь — это чувство глубинное, душевное, неискоренимое. В отвержении «славы, купленной кровью» Лермонтов сходился с Хомяковым, но тут же расходился с ним в неприятии «...темной старины заветных преданий» и «полного гордого доверия покоя», то есть «смирения», и сытого

самодовольства правящих верхов. Лермонтов, как и Хомяков, ищет иное величие России, не то, о котором трубят «льстцы», но и не то, которое нашел Хомяков. Для Лермонтова величие — в народе, в его обычаях, нравах, в его скрытой внутренней силе.

Был и еще случай обоим поэтам высказаться о величии России. Прах Наполеона в 1840 году был перенесен с острова Св. Елены в парижский Дом инвалидов. Хомяков написал по этому поводу свои стихотворения «На перенесение Наполеонова праха», «7 ноября» и «Еще об нем». Лермонтов написал «Последнее новоселье», а незадолго перед тем — «Бородино».

Наполеон для Хомякова — великий честолюбец, воплощение западного начала. Победил же его в 1812 году не русский меч, не штык, а «наша сила, русский крест!». В другом стихотворении у него повторяется рефрен: «Не сила народов повергла тебя». Самарин иронизировал в письме к Константину Аксакову: «До чего дошел Хомяков... — Наполеона повергла не сила народов, не общее восстание, а что-то другое»<sup>1</sup>. Для Лермонтова, как известно, славяне — это «гордое племя», а не смиренное! «Приветствуя тебя, воинственных славян святая колыбель...»

Простой воин, от лица которого ведется рассказ в «Бородине», является воплощением той народной силы, которая решила исход войны. Фраза у Лермонтова «ты жалкий и пустой народ», брошенная «великому народу» — французам, не сближает его со славянофилами. Лермонтов говорит тут не о французском народе, а о той «вздорной толпе», которая наживалась вокруг славы Наполеона.

Из Славы сделал ты игрушку лицемерья,  
Из вольности — орудье налаза,  
И все заветные отцовские поверья  
Ты им рубил, рубил сплоха.

<sup>1</sup> «Русский архив», 1880, кн. 2, с. 275.

Лермонтов упрекает современную буржуазную Францию, которая забыла заветы Революции, забыла Веру, Славу, Гений, которыми Наполеон увенчал страну. Правда, Наполеон слишком идеализирован как романтическая, непонятая толпой великая личность, как спаситель Франции от кровавых смут после 9 термидора. Но хомяковская трактовка была бесконечно ниже этой. Она не содержала даже попытки разобраться в том, какую же историческую роль сыграл великий человек, над которым одержал победу русский народ.

Но не только Родина и Запад по-различному трактовались Лермонтовым и Хомяковым. По-разному они трактовали и Восток.

Уезжая в последний раз из Москвы в 1841 году, Лермонтов оставил для публикации в «Москвитянине» свое стихотворение «Сиор». Тут символически, видимо, подытоживались его споры со славянофилами о Востоке. Лермонтов осуждал завоевательную политику царизма на Кавказе. Но он в то же время знал, что Восток от Тегерана и до Нила «спит глубоко уж девятый век». Вся его история — в прошлом. Похвальбы Шат-Горы (Эльбруса) могуществом, устойчивостью Востока не сбываются. Казбек более трезво видит положение вещей, хотя оно его и не радует. Связь с царской Россией несет с собой и тяготы, и новые испытания. Но исторически они оправдали себя.

Замысел «романической трилогии» (из трех романов) в прозе о трех эпохах: Екатерины II, Александра I и Николая I, которым был захвачен Лермонтов в самом конце жизни (свидетельство об этом со слов самого поэта дошло до нас через Белинского), многое бы прояснил. Широкий эпический размах замысла втянул бы Лермонтова в необходимость четко высказаться по всем вопросам русской истории и тем вопросам, которые ставились в «Философическом письме» Чаадаева, «Истории русского народа» Н. Полевого,

в произведениях Пушкина, в спорах западников со славянофилами. Сам размах замысла исключал славянофильскую узость, избранность в отборе фактов. Эта широта скорее вела к «Войне и миру» Толстого. Было что-то и антично-чадаевское в этом замысле, с охватом различных эпох русской истории, с ее падениями и восстаниями. Тут широта исключала предвзятость суждений. Широта диктовала аналитический, исследовательский подход, отыскание истин, а не дидактическое их навязывание, как это было свойственно крайнему западничеству и славянофильству.

Н. М. Языков — пример поэта, который много сделал для рождения славянофильства. А когда оно сложилось полностью, отдал ему себя. Ему принадлежат, как известно, самые острые, политические стихи в защиту этого движения. Он яростно напал на западников в 1844 году в стихотворениях «К ненашим» и «К Чадаеву», которые своим почти доносительским характером возмущали всех честных людей и вызвали неодобрение и у некоторых славянофилов.

Либерализм Языкова был поверхностным и расплывчатым. Бывает так, что не самый ортодоксальный поэт движения создает самые звонкие стихи этого движения. Языков в 1824 году был автором стихов, которые долгое время считались рылеевскими и были опубликованы Герценом в «Полярной звезде» в 1859 году:

Свободы гордой вдохновенье!  
Тебя не слушает народ:  
Оно молчит, святое мщенье,  
И на царя не восстает.

Я видел рабскую Россию:  
Перед святыней алтаря,  
Гремя цепьми, склонивши выю,  
Она молилась за царя.

(«Элегия»)

Языков был ближе к А. Одоевскому, чем к Константину Аксакову, когда писал, что «рука свободного сильнее руки, измученной ярмом» («Песнь барда во время владычества татар в России», 1823). Константин Аксаков считал, что вооруженный раб опасен, что мечи ковать из цепей не надо. После поражения декабристов Языков чтил память Рылеева («О, вспомяни о нем, Россия...»). Но уже в этих звонких стихах был внутренний элегический надрыв, который не могли заглушить буйное буршество, разгулье молодое, певцом которого считался тогда Языков. Славя «святое мщенье», Языков был обескуражен молчанием народа. «Рылеев умер как злодей» в сознании многих и многих людей. И все это потому,— с отчаянием говорил Языков,— что:

Столетья грозно протекут,—  
И не пробудится Россия!

Сознание того, что:

Еще молчит гроза народа,  
Еще окован русский ум,—

вело Языкова к поискам новых, спасительных начал. Декабристский либерализм плодов не принес. Мучившая поэта загадка, почему молчит народ, толкала разгадать его душу. Но Языков в своих поисках ответа на этот вопрос пошел по ложному пути.

Первые близкие к славянофильству стихи и заявления он сделал вполне самостоятельно, без посторонних внушений. Его когда-то привлекали Боян, Дмитрий Донской, Евпатий Коловрат, вольный Новгород, шум народных мятежей, вече. Но недаром Языков писал В. Д. Комовскому осенью 1831 года: «...я перейду из кабака — прямо в церковь!! Пора и бога вспомнить»<sup>1</sup>. В послании к А. Н. Татаринову (август 1826) он уже

<sup>1</sup> «Литературное наследство», т. 19—21, с. 51.

одобрял решение приятеля посвятить себя наукам, а не «немецкой вольности»: «Не наш удел ее порывы. Иною жизнию мы живы, // Мы славой славимся иной». Не верить чужому уму, не верить чужому богу призывает теперь вчерашний разгульный дерптский бурш. В послании к Ивану Киреевскому в 1831 году он взывал действовать «православно», надеясь, что тот в архивах, где служил, найдет «чисто русскую Россию».

У Языкова «пропагандистские» призывы славянофилов звучат почти вульгарно. Он в открытую говорит о «прямо русском» взгляде на вещи, о «своегородных вдохновениях». Бурш превращался в шовиниста. Он и Гоголя в 1841 году поздравляет с возвращением из «некрести немецкой», то есть из-за границы. Во время заграничной поездки он сам хочет «прочь» убежать с рейнских берегов, на лоно русских «смеющихся долин».

В своих злых выпадах против «натуральной школы» и «богомерзкой» западной школы Языков не знал меры. Его упрекал в этом Константин Аксаков. Но поддерживал Петр Киреевский и оправдывал в мемуарах Д. Н. Свербеев. Однако процесс размежевания был объективный, так как раскол в московских кружках 40-х годов давно назрел. Языков и выразил этот процесс деления на «наших» и «ненаших» со всей своей «буршевской» бесшабашностью.

У славянофилов были друзья в русской литературе,казалось бы, внешне с ними не связанные. Таков был Тютчев. Правда, и с ним славянофилы породнились. В 1866 году Иван Аксаков женился на дочери Тютчева. Имения Абрамцево и Мураново, расположенные по соседству под Москвой, с этих пор как бы стали символизировать не только семейное родство Аксаковых и Тютчевых. Недаром Иван Аксаков является автором известной биографии поэта.

Справедливо одно из главных его умозаключений: «Тютчев как бы перескочил через все стадии русского

общественного двадцатилетнего движения» и, возвращаясь из-за границы, «очутился в России как раз на той ступени, на которой стояли тогда передовые славянофилы с Хомяковым во главе»<sup>1</sup>.

Тютчев, конечно, неизмеримо превосходил славянофилов как поэт, как певец русской природы. Но некоторые убеждения их он разделял. Он даже сам просил Шеллинга не подчинять религию целиком философии, а оставить место и чистой вере. Это было конечным пунктом и в философских исканиях Хомякова и Ивана Киреевского. В статьях «Россия и Германия» (1844), «Россия и революция» (1848), опубликованных за границей, Тютчев развивал те самые панславистские и охранительные начала с возвеличиванием самодержавной и православной России и уничижением крамольного Запада, которые были близки славянофилам.

В бедных селениях, в скучной природе родного края, края «долготерпенья», Тютчеву, как и Хомякову, чудились какие-то особенные задатки:

Не поймет и не заметит  
Гордый взор иноплеменный,  
Что сквозит и тайно светит  
В красоте твоей смиренной.

Тютчев и славянофилы одинаково думали об особенной «стати» России. Есть знаменитый стих у Тютчева о России: «У ней особенная стать», ее «аршином общим не измерить» (1866). У Ивана Аксакова в «Зимней дороге» (1847): «Свое чужим аршином мерить». Хомяков в Москве, а Тютчев в Мюнхене одинаково откликнулись на перенесение праха Наполеона в Париж. В стихотворениях обоих поэтов говорилось, что силу завоевателя сокрушила «освящающая сила», «подводной веры камень». Тютчев верил, что «утро с Востока встает», что Россия подымется «в славе чудесной», «превыше всех

<sup>1</sup> И. С. Аксаков. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886, с. 63—64.

земных сынов». У Хомякова: бог отдал России «судьбу вселенной».

И общеславянское единение нашло у Тютчева поэтическое выражение в удивительно схожих с хомяковскими стихах: «Вековать ли нам в разлуке?» На пражских высотах «добрый муж», видимо, в тех же, как и у Хомякова, «одеждах святого Кирилла», засветил маяк. И все славянские края оказались в лучах его:

Рассветает над Варшавой,  
Киев очи отворил,  
И с Москвою златоглавой  
Вышеград заговорил.

У Тютчева это написано в 1841-м, у Хомякова в 1847 году. Так называемое «русское миросозерцание» Тютчева весьма напоминает славянофильское миросозерцание.

Славянофилы связаны с русской литературой крепкими нитями. Напрашивается еще одно сопоставление: славянофилов и петрашевцев. Когда в Петербурге в 1849 году арестовали петрашевцев, то Московский генерал-губернатор Закревский, постоянно следивший за славянофилами, сказал одному из своих приятелей: «Что, брат, видишь: из московских славян никого не нашли в этом заговоре. Что это значит, по-твоему? — Не знаю, ваше сиятельство, — Значит, все тут, — продолжал Закревский, — да хитры, не поймаешь следа». Так передает этот разговор Хомяков, который слышал его в Москве<sup>1</sup>.

Равенство московских «заговорщиков» с петербургскими и особенно их умение маскироваться, конечно, только мерешилось генерал-губернатору. Славянофилы были далеки от политического заговора. Далеки они были и от общественных интересов петрашевцев.

И все же близость славянофилов и петрашевцев несомненна: они представляют собой две типологические

<sup>1</sup> См.: А. С. Хомяков. Соч., т. VIII. М., 1904, с. 191.

разновидности русского романтизма 40-х годов, романтизм «консервативный» и романтизм «революционный», и оба связаны с утопиями, построениями идеальных общественных отношений. Личных контактов между ними, разумеется, не было. Речь может идти только о типологических соотношениях.

Как поэты-романтики петрашевцы еще в должной мере не осмыслены. А между тем их романтизм несомнен: «...любимым миром для воображения поэта должен стать внутренний мир» (М. В. Петрашевский. Карманный словарь иностранных слов. Статья «Ода»). Для петрашевцев было исходным положение Фейербаха о том, что «человек — единственный, универсальный предмет философии»<sup>1</sup>, а следовательно, и поэзии. Будущее общество они мыслили себе как всеобщее благоденствие всех и каждого.

В их критическом подходе к действительности, в сочувствии к бедным было много роднящего их с «натуральной школой». Некоторые из петрашевцев и были ее участниками (Достоевский, С. Ф. Дуров, А. И. Пальм). Здесь они решительно расходились со славянофилами, которые не принимали реализма в литературе, критики Белинского. Петрашевцы были «западниками» и поклонниками Белинского.

Конечно, учение петрашевцев о фаланстерах, их почитание системы Фурье и других социалистов-утопистов сильно отличало их от славянофилов. Но ведь и славянофил Петр Киреевский «начинал» с Сен-Симона. У петрашевцев — фаланстер, у славянофилов — община. То и другое было утопией.

Оба направления, каждое по-своему, защищали гражданскую поэзию. Петрашевец А. Н. Плещеев хочет «глаголом истины разить» («Любовь певца», 1845).

---

<sup>1</sup> «Философские и общественно-политические произведения петрашевцев». М., Госполитиздат, 1953, с. 269.

Знаменитый гимн Плещеева «Вперед! без страха и сомненья» весь был построен на утверждении силы науки, под которой подразумевались идеи критические, социалистические и идеи примирения классов:

Провозглашать любви ученье  
Мы будем нищим, богачам...

Не отказывались петрашевцы и от излюбленных еще лекабристами эпитетов: «святой», «священный». Образ Спасителя — Христа не сходит со страниц поэзии славянофилов и петрашевцев. Но Христос-социалист получает у петрашевцев совсем иной смысл, чем у славянофилов. Веры церковной петрашевцы-фейербахианцы не признавали. Славянофилы же были ортодоксально православными.

И все же любопытна структура образа Христа-социалиста. Ведь таким он проходит и в знаменитом «Письме к Н. В. Гоголю» (1847) Белинского, в легенде о «Великом Инквизиторе» Достоевского. В стихотворении «Поэту» Плещеев воскликнул о временах, «когда восстанет правды бог»:

Но будь гонимых утешитель,  
Врагам озлобленным прости,  
И верь, что встретишь, как Спаситель,  
Учеников ты на пути.

В конечном счете, думается, этот образ получил свое завершение в поэме А. Блока «Двенадцать» и, может быть, в «Тринадцатом апостоле» Маяковского (так первоначально называлось его «Облако в штанах»).

Плещеев, как и все петрашевцы, первоначально отрицательно относился к славянофилам (его письмо С. Ф. Дурову от 26 марта 1849 года)<sup>1</sup>. Но во второй

<sup>1</sup> См. в работе В. И. Семевского «Петрашевцы: С. Ф. Дуров, А. И. Пальм, Ф. М. Достоевский и А. Н. Плещеев». — «Голос минувшего», 1915, № 12, с. 64.

половине жизни он несколько сблизился с ними. В распывчатых формах гражданской патетики он выразил свою скорбь в стихотворении «Памяти К. С. Аксакова» (1861), назвав умершего «испытанным бойцом», «защитником прав народа», девизом которого были «отчизна и свобода». Но такая позиция характеризует только Плещеева, вообще склонного к компромиссам. В целом же петрашевцы представляют совсем другой по своей политической направленности тип романтиков, чем славянофилы.

Итак, работая в «большом» русском романтизме 20—30-х годов, славянофилы соприкасались с его различными формами. Задолго до 1839 года, когда сформировалась их доктрина, славянофилы в поэзии уже высказывали ее отдельные положения. С конца 30-х годов они стали уже выражать ее и в поэзии как целостное учение, но славянофильский романтизм от этого сузился. Поэзия стала прямым голосом доктрины. И чем сильнее доктрина звучала в славянофильской поэзии, тем поэзия становилась суще, жестче, как бы ни старались сами поэты откликнуться на все голоса жизни, желая придать поэзии привлекательность.

Впрочем, и в чисто славянофильском творчестве было много своих достоинств. Все-таки оно было формой оппозиции, искреннего протesta против самодержавия и крепостничества.

-